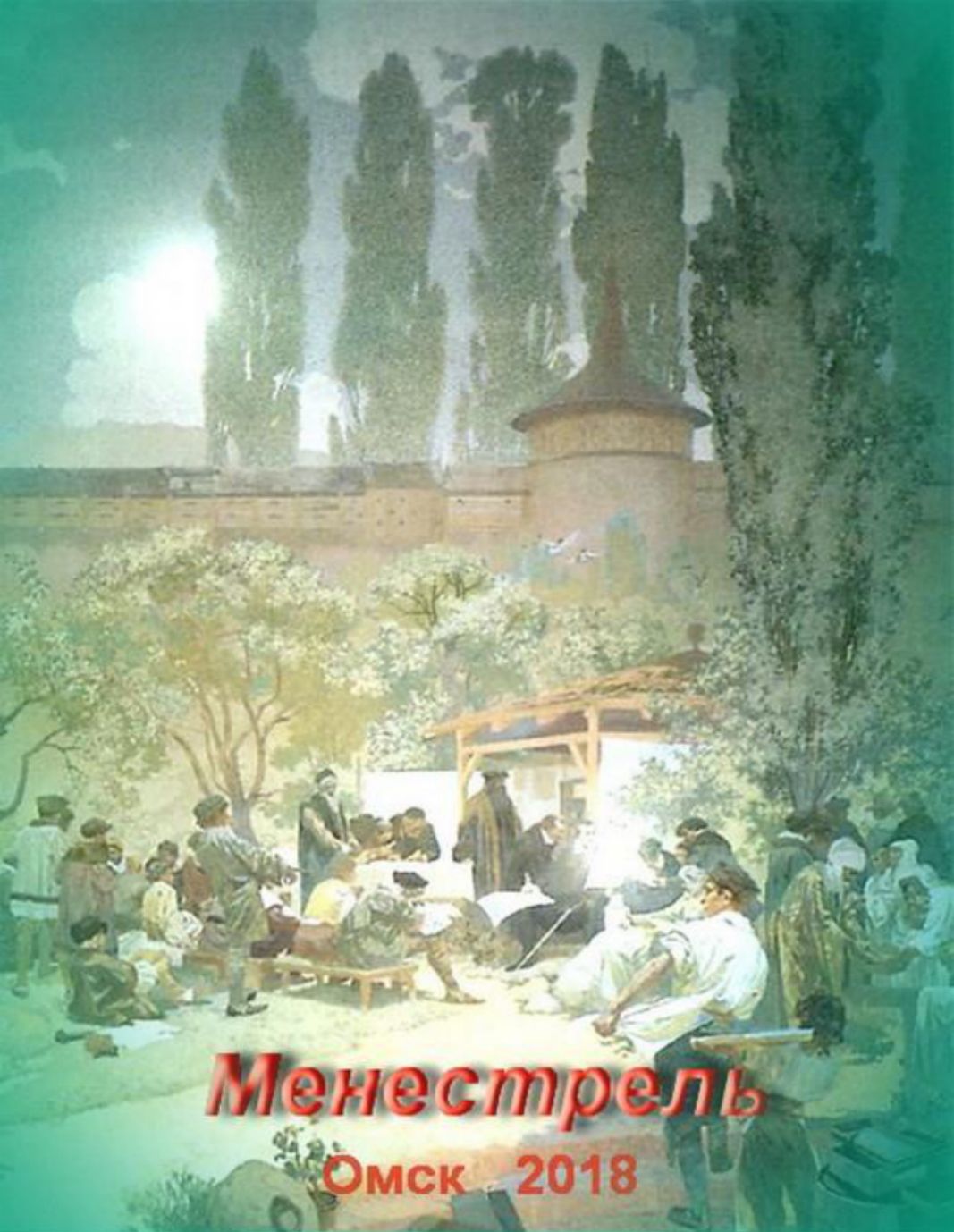




Менестрель

Омск 2018



- Геннадий Прашкевич

☐

☐ А

☐ Б

☐ В

☐ Г

☐ Д

☐ Е

☐ Ё

☐ Ж

☐ З

☐ И

☐ Й

☐ К

☐ Л

☐ М

☐ Н

☐ О

☐ П

☐ Р

☐ С

☐ Т

☐ У

☐ Ф

☐ Х

☐ Ц

☐ Ч

☐ Ш

☐ Щ

☐ Ъ

☐ Ы

☐ Ь

☐ Э

☐ Ю

☐ Я

Геннадий Прашкевич

Азбука вины

Из сгоревшей книги

Почему — из сгоревшей.

Два года назад книга под таким названием должна была выйти в Луганске в издательстве «Шико». До этого там вышли книга моих повестей «Нет плохих вестей из «Сиккима» и весёлое сочинение А. Етоева и В. Ларионова (оба — Санкт-Петербург) «Книга о Прашкевиче». На Украине меня охотно печатали — и на русском, и в переводах на украинский. Так бы и жить. Но пришла война. Типография, в которой находился тираж «Азбуки вины» (я вычитал и корректуру, и верстку) была уничтожена пожаром, возникшим после очередного украинского обстрела. А затем и ранее изданные мои книги были запрещены на Украине.

Но я человек опытный и терпеливый.

Многое видел, многое испытал.

Надеюсь, переживу и это.

Новосибирск, 2017.

АВТОГРАФ

В году семьдесят девятом (понятно, прошлого века) в Западно-Сибирском книжном издательстве решили переиздать роман «Поднятая целина» М.А. Шолохова. Юлий Моисеевич Мостков — редактор, страстный коллекционер писательских автографов, отправил автору письмо: «Уважаемый Михаил Александрович! Согласны ли Вы на переиздание Вашего романа?». Прекрасно знал, что автографом классика теперь обеспечен. Приготовился ждать терпеливо, но буквально через пару недель пришёл ответ. Юлий Моисеевич вскрыл конверт и застыл изумлённо: в тексте его собственного письма красным карандашом было подчёркнуто слово — *согласен*.

АСТАФЬЕВ

В писательской поездке на теплоходе по Оби в сентябре 1972 года отяжелевший, смахивая с невидящего глаза (память войны) слезинку, Виктор Петрович часами вёл за столом свои потрясающие монологи.

...вот все кричат, прямо в крик идут: «Ох, ах, берегите природу!». А почему-то никто не кричит: «Караул! Караул! Вон какие выросли дети в наших малосортных квартирах!». А это ведь наши дети губят природу. Подросли и губят. Я не тогда почувствовал ужас, когда увидел на берегу осетров сдохших, а тогда почувствовал этот ужас, когда увидел дохлых ершей. Ерши обычно всё переживают, но, если уж и они сдохли, — дрянь дело. К тому же наши советские браконьеры — они ведь везде проникают, и такие они талантливые, что могут уничтожить вообще всё живое, даже не касаясь его. Вот стали мы активно кедр оберегать, не стали его валить, а просто вырубili всё вокруг. Кедр сам и попадал...

...в Колпашево, все видели, на селекционной станции выращивают картошку. Просто картошку. Надо памятник поставить тем людям, которые привезли к нам в Россию картошку, потому что сейчас она — главная наша опора. Вот пишу сейчас «Оду русскому огороду» и сам картошку выращиваю, потому что рос не в городе, а в деревне на Енисее. Отец после бани выпивал, и всегда ему хотелось много шума наделать. Врывался в

дом с большим шумом, ладно мать успевала вынести посуду. Так и жили. А нынче какая жара, цвет сыплется с картошки. Хорошо хоть, что это такая культура, что от цвета своего никак не зависит...

...на фронте героизм и трусость неразделимы. Сегодня навалишь в штаны, а завтра, что называется, подвиг совершишь. На Днепре дожди шли, окопы оплыли, кухни не подходят, жрать всё время хотелось. Дохлую рыбу выбросит взрывом, мы её выбирали из груды трупов. А тут ещё вторые сутки визжит на нейтральной полосе поросёнок, совсем достал. Вот ведь нашёл место дурак — пастись между двух армий. Ночью наши минёры проделали проход в колючке, бросили на спичках, и один солдатик пополз за добычей. Скоро нашёл пустой домик, крышу с него снесло, упавшим бревном придавило дурного поросёнка. Солдатик автомат положил у ног, в лунном свете кишки поросёнычи выбирает. И вдруг чужой сапог на автомате. «Гут, гут, Иван!». Что тут сделаешь? Выбирает солдатик кишки, даже перестрелка затихла, две армии прислушиваются, чья возьмёт? «Гут, гут, Иван!». Поросёнок небольшой, но не бесконечный, — выбрал, наконец, солдатик все кишки. Немцы мясо забрали, и автомат его забрали. А что такое потеря оружия на фронте? Трибунал! Правда, немцы в тот раз порядочными оказались, пожалели солдата, не генерал же приполз на нейтралку за поросёнком. А может, сами — из бывших спартаковцев. Вынули диск и солдатику автомат вернули...

...пишу роман. «Болят наши раны». Это восемь дней на днепровском плацдарме. Там меня контузило. Ходил по трупам, все мы там по трупам ходили. Я лет десять потом равнодушен был к покойникам, только позже немножечко отошёл. Прятались по оврагам, а однажды я, дурак, по гребню побежал, решил не мочить ног. Да и не верил, что немецкие самолёты или миномётчики охотятся за одиночками. Когда справа и слева рвануло — ещё не верил, но когда впереди, то понял — вилка. Рванулся, и всё! Вспышка. Привет. Видите, весь кривой. Повезло: наши ребята случайно развернули стереотрубу — нет ли там чего поживиться, и меня увидели меня. Вынесли. Не могли не вынести. Я до того троих вынес — татарина и двух русских. До сих они пор приезжают в гости и на встречи зовут. Но я не хожу на такие встречи. Ветераны наши, пусть и небольшой, но всегда хотят войны, а я счастлив тем, что остался жив...

Впервые Виктор Петрович Астафьев официально поехал за границу именно в Германию — в ГДР по приглашению Евангелической академии. До этого и мыслей таких не было. И сейчас попытался отказаться. «Я контужен на днепровском плацдарме, зачем же поеду к немцам? У меня вон ключица

выбита, и глаз не видит. Я спущусь там у них в ресторанчик шнапсу выпить, а за столиком — немец. Может, и у него глаз косит, ключица выбита, как у меня. Да ещё, не дай Бог, на Днестре».

Но Виктора Петровича уговорили, а руководителем писательской группы назначили популярного тогда советского писателя Василия Ардаматского. («Сатурн почти не виден» и прочее). Как только поезд пересёк государственную границу и миновал серые подворья Вялой Подляски, популярный писатель превратился в классика. «Витька, за водкой!». В итоге в Берлине Ардаматского и Астафьева поселили в разных отелях. С горя Виктор Петрович спустился в бар, заказал там стаканчик шнапса, сделал глоток, поднял глаза и замер. Перед ним сидел немец. Один глаз косил, ключица выбита, может, и на Днестре. И немец глянул на Астафьева — как в случайное зеркало. И видно было, что отражение ему не понравилось. Чтобы отвлечься, потянулся вилкой к последней оставшейся в его тарелке горошине, подцепил и понёс ко рту. Только поторопился он, замасленная горошина сорвалась с вилки. Немец снова её подцепил, понёс ко рту и во второй раз её не удержал. Это почему-то успокоило Виктора Петровича. Вот били мы вас, и будем бить, несколько даже заносчиво подумал он, имея в виду не столько даже немцев, сколько некоторых классиков русской советской литературы. А немец понёс горошину ко рту, и снова её уронил.

И так несколько раз, чем сильно улучшил настроение Виктора Петровича.

Он выпил ещё один стаканчик отвратительного шнапса, и окончательно утвердился в той хорошей мысли, что вот били мы вас и бить будем! А немец между тем собрался, осторожно глотнул из своей рюмки и, настороженно косясь на Астафьева, взял в левую руку нож, аккуратно прижал им к вилке злосчастную горошину и съел.

Вот тут Виктор Петрович и уронил горестно голову на руки.
«Когда-нибудь они нас победят».

...первый секретарь — (Обкома. — Г.П.) — в Вологде дал мне квартиру. Писателю, сказал, нужна большая квартира. Свою, заметьте, мне отдал. Ну, а себе, чего ж, новую построил. Которую мне отдал, громадная — страсть. Жена Марья у меня маленькая, как увидела необозримую кухню, заохала. А я заперся в кабинете и работаю. Хорошо, наконец, удобно. А потом стал чувствовать, что вот что-то не так. И понял. Это, понял, неправильно, что я с Марьей в такой большой квартире живу, а никто ко мне не идёт. Наверное, боятся обкомовской квартиры. Пришлось обзванивать всех: «Ну, почему не идёте? Раньше-то шли в любое время!». Один

брожу по хоромам. «Марья, — кричу. — Где ты?» — Она откуда-то отвечает: «Тута-ка!».

Пришлось переехать...

БУДУЩЕЕ

Буданов Владимир Иванович.

Геохимик. Член-корреспондент Таджикской Академии наук.

Впервые записавшись в городскую библиотеку (второй класс), получил от библиотекарши на выбор сразу две настоящие взрослые книжки. Одна — «Выливание сусликов», другая — «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль». Вторая была толще, и в ней было много непонятных слов, поэтому будущий геохимик выбрал её. Получилось, что счастливо и навсегда выбрал своё будущее. Правда, потом почти до двадцати лет считал сусликов жидкими.

ВИКТОР КОЛУПАЕВ (фантаст)

«Я не знаю, каким образом Вселенная может выйти из сингулярного состояния. Скорее всего, эта проблема не просто физическая. Но предположим, что скорость фундаментального воздействия начинает уменьшаться и Вселенная выходит из сингулярного состояния. Это происходит не в шуме и грохоте Большого взрыва, а в тихом Сиянии и Славе».

Осенью 1968 года я работал в поле на мысе Марии (Северный Сахалин).

Охотское море, обрывистые пустынные берега. Долгие дни, долгие маршруты. Тихая речка, в устье которой океан лениво валял по песку алые поплавки, расписанные хищными иероглифами, заросли черники. Время тянулось медленно, тем приятнее было думать о возвращении. Вот, думал я, с первыми затяжными дождями вернусь, а в Южно-Сахалинске как раз выйдет моя первая книга — книга стихов! И я буду дарить её своим друзьям, девушкам, коллегам, всем будет счастье.

Понятно, что, вернувшись с полевых работ, я отправился в издательство.

К моему удивлению, настроение там царило совсем не праздничное, а Толя Кириченко, редактор, и без того невесёлый человек, сказал, мрачно оглядываясь на закрытую дверь кабинета: «Понимаешь (мать твою), — он не умел говорить без таких вот вводных слов, — эта твоя книжка (мать твою) давно уже готова, осталось только (мать твою) подписать её в свет, но у цензора (мать твою) возникли какие-то вопросы». Он посмотрел на меня серыми немигающими глазами и добавил: «Ты бы сам (мать твою) поговорил с цензором».

Конечно, Толя сказал это, не подумав.

До работы в книжном издательстве он лет десять ходил по морю на рыбацком сейнере — замом по политработе, свято верил в полиморсос, вот и запамätовал, наверное, что в СССР никакой цензуры не существовало, и цензоров не существовало. Просто работали во благо соблюдения важных государственных тайн некие молчаливые сотрудники Лито — невидимки, общаться с которыми имели право исключительно редакторы, но ни в коем случае не авторы. Что мне до того? Я был молод, верил в свою звезду и легко отыскал в Южно-Сахалинске нужное здание. Поднялся на нужный этаж, вошёл в нужный кабинет. Женщина за столом сидела — молодая, привлекательная, умные, всё понимающие глаза. А главное, как выяснилось, ей чрезвычайно — очень и очень — нравились мои стихи. Она так и сказала: «Давно не читала ничего такого свежего».

Словечко — *свежего* — несколько резнуло слух, но я обрадовался сказанному, даже удивился: как это наш Толя (мать

твою) Кириченко не сумел договориться с такой умной, с такой понимающей женщиной?

«Но есть, есть некоторые мелочи, — пояснила Лилия Александровна, так звали мою визави. Она щурилась, улыбалась чуть-чуть виновато, будто втайне немного всё же стыдилась за меня, как бы подмигивала мне потаённо. — Вот тут, взгляните. В общем-то, чепуха, мелочь, дребньость, как говорят болгары. Вы ведь знаете болгарский язык? — Непонятно было, гордится она моими знаниями или их осуждает. — Интересная получилась книжка, этакие интересные стихи с этаким историческим уклоном. Вы, наверное, зачитываетесь Замятиным? Нет? — удивилась она, и я тоже удивился: при чём тут Замятин? — Солженицыным, наверное, зачитываетесь. — В голосе её что-то пряталось. Будто она не знала, чем в то время чтение Солженицына грозило читателям. — Как? И Солженицына не читали? Ну, ну. — Она мне совсем не верила, её глаза подозрительно поблёскивали. — Скажете ещё, что и Оруэлла не читали? Тогда понятно. Читать надо больше. А то вот вкрался в вашу книжку недостойный стишок — тоже с историческим уклоном. «Путь на Бургас». Хорошее название, но что вы тут пишете? «Где Кормчая книга? Куда нам направить стопы?» — процитировала она, как бы затаённо, понимающе, подмигнув мне. — Между нами говоря, товарищ Прашкевич, программа построения социализма нами уже выработана. — Её глаза строго сверкнули. — «Сократу дан яд, и прикован к скале Прометей». Ну, что вы, в самом деле, зачем так сразу? Все знают, что в мировой истории всякое бывало. «Болгары бегут. Их преследует Святослав». Почему же сразу — преследует? Это в братской-то стране. «Сквозь выжженный Пловдив дружины идут на Бургас. Хватайте овец! Выжигайте поля Сухиндола!». Как такое может быть? Что у вас за странные призывы? Вы же, товарищ Прашкевич, — она, наконец, определила правильную дистанцию между нами, — пишете о нашем (советском) князе Святославе. — Разумеется, она не произнесла вслух этого определения, но оно явственно угадывалось в её тоне. — Якобы в девятьсот шестьдесят восьмом году, ровно тысячу лет назад, наш (советский) князь Святослав застиг врасплох мирные (братские) болгарские города, выжег Сухиндол и всё такое прочее, многих болгарок изнасиловал... — голос Лилии Александровны сладко и страшно дрогнул. — А где тому доказательства? Как такое могло произойти? Разве мог наш (советский) князь вести себя подобным образом в нашей солнечной (братской) стране?».

Мне чрезвычайно понравилась открытость Лилии Александровны.

«В работах известного советского болгароведа академика Н. С. Державина...»

Но она понимала. Она без всяких слов всё понимала. Она даже договорить не дала мне. «Представьте мне труды этого академика».

Я обрадовался и на другой день принёс умной бдительной сотруднице Лито второй том «Истории Болгарии» академика Н.С. Державина. То есть, в своей жизни мне, как автору, дважды удалось побывать в кабинете советского цензора.

Вот что было напечатано на странице тринадцатой.

«В конце весны или в начале лета 968 года Святослав Игоревич во главе 60-тысячной армии спустился в лодках вниз по Дунаю и двинулся по Чёрному морю в устье Дуная. Болгария была застигнута врасплох, выставленная ею против Святослава 30-тысячная армия была разбита русским князем и заперлась в Доростоле (теперь Силистра). Центром своих болгарских владений Святослав сделал город Преславец, т. е. Малый Преслав, расположенный на правом болгарском берегу Дуная. Чтобы спастись от непрошеного гостя, болгарское правительство вступило в переговоры с Византией, одновременно предложив печенегам напасть на Русь и тем самым заставить русских с их князем очистить Болгарию. Печенеги на это согласились и осадили Киев. Это заставило Святослава поспешить в Киев, но значительную часть своей армии он всё же оставил в Преславце. Впрочем, ликвидировав в Киеве угрожавшую ему со стороны печенегов опасность, в следующем 969 году Святослав вновь направился в свою болгарскую область».

Внимательно дочитав отмеченную мною страницу, Лилия Александровна долго молчала, рассматривала меня умными всё понимающими глазами. «Откуда же эта печаль, Диотима?». Я даже встревожился. Да снимем мы с вами, Лилия Александровна, думаю я, снимем мы с вами этот вредоносный стишок, посвящённый нашему (советскому) князю Святославу, и пусть книга поскорее отправляется в типографию!

«В каком году издан том академика Державина?».

«В одна тысяча девятьсот сорок седьмом».

«А какое, миленький, сейчас тысячелетие на дворе?» — Лилия Александровна, несомненно, хорошо знала русскую советскую поэзию.

«От рождества Христова — второе, — ответил я, стараясь быть понятым правильно. — А если уж совсем точно, — пояснил я, — то сейчас идёт одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год».

Наступило молчание.

Потом Лилия Александровна вздохнула.

Потом она вздохнула и произнесла слова, которые я помню до сих пор.

«Тысячу лет тому назад и даже в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году наш (советский) князь Святослав мог делать в солнечной (братской) стране Болгарии всё, что ему заблагорассудится. — Тут она выдержала нужную паузу. — Но в одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году мы ему этого не позволим!».

И моя первая в жизни книга ушла под нож.

И долгое время после всей этой истории привкус чего-то неясного, невыразимого жил во мне. Чужие слова высвечивались иначе, незнакомые тексты казались *не понятными правильно*. Как же это так? Почему я читал академика Державина совсем иначе, чем Лилия Александровна? Что за странная муть всклубилась в душе, почему временами начинало казаться, что, возможно, они правы — все эти редакторы, цензоры, бдительные рецензенты, чиновники, блюдущие нашу чистоту? Боже мой, оказывается, они лучше меня знали: зачем рыбы? зачем острова в океане? зачем мораль? зачем Репин и Фальк? зачем Пушкин и Хармс? Ведь они умели так доверительно, так понимающе намекать и заговорщически подмигивать.

Потом я понял главное: спасает природа.

Вот солнце ставит над водопадом крутую яркую радугу.

Вот камнепад вычерчивает в ночной тьме блистающие огненные дорожки.

Вот океан медлительно выкатывает на влажный песок языки пузырящейся пены, а волны вдали бегут мелкие, кудрявые, как овечки. Вот валяется на отмели скелет сельдяной акулы, а там, один за другим, уходят в неведомое будущее океана и неба голубые очертания мысов. Рощицы бамбуков сменяются рошицами берёз, с тяжёлых ветвей свисают пыльные бороды лишайников. Пылают плети лиан, кровавыми сердечками украшая стволы ими же задушенных деревьев. Гигантские лопухи, запах запустения, запах палой листвы. Мелькнёт на солнце в песке древний обсидиановый наконечник. И только океан, величественный океан вновь и вновь выкатывается из марева — посмотреть на мою тоску. Природа — всегда творец. Она создаёт всё, что угодно — уродливое и смешное, грозное и прекрасное. И пока она жива, живы поэты.

«Расцветают, горят на железном морозе насытые волчьи, божьи глаза».

За одну эту строку, всего за неё одну Ивану Бунину можно простить многое.

(1992–1994 гг. «Разное»)

Комната в доме барачного типа (9 кв.м.), первый этаж, без электричества, без удобств, деревня Нижние Сапоги (лев. берег Оби) — меняю на благоустроенную трёхкомнатную в любом южном штате Америки.

Две особи противоположного пола, составляющие простую сельскую семью, готовы рассмотреть деловые предложения любого зоопарка мира экспонировать их как типичный биологический вид Гомо советикус на условиях: а) обеспечение питанием по разряду высших млекопитающих; б) предоставление одного выходного дня в неделю для повышения культурного уровня; в) по истечении срока контракта — выход на волю в том районе земного шара, в котором экспонировалась указанная пара.

Одинокая женщина с древнерусским характером, потомок известного рода алтайских пчеловодов, страстно мечтает о встрече с одиноким мужчиной, гордящимся такими же чертами характера.

Недавно узнал, что моего прадеда звали Фима. Имею ли я право подать документы на выезд из страны?

Мужчина шестидесяти лет, образование среднее, уверенный коммунист. Ищу свою истинную половину, которая всё выдержит и выдюжит, не продаст и не предаст, останется верной и сильной, а в последний роковой час печально закроет другу остекленевшие глаза, с благодарностью целуя в холодный лоб, и, рыдая, проводит туда, откуда не возвращаются даже самые уверенные коммунисты.

Рассматривая рубль нового выпуска, обратил внимание на то, что слово «один» там написано, как бы на деревянном торце, даже как бы годовые кольца просматриваются. Означает ли это, что наш

отечественный рубль официально признан деревянным?

Продам мужа за СКВ или отдам в аренду!

Телеграфистка, сорок пять, сто двенадцать, беспорядочная тяга к спиртному. Где ты, мой кукушонок?

Лучше всего праздничный вечер запомнится вашим гостям, если вы отравите их копчёными курами, купленными в магазине «Алай», Горького, 19.

Господин президент! Софию Ротару как делить будем?

Вся страна говорит о приватизации. Я тоже за, но с жёстким контролем, а то вот отнёс сапожнику-частнику старые туфли в починку, а он мало того, что тысячу за подошвы с меня содрал, так ещё запил на радостях. Теперь пришёл в себя, говорит: ни туфель моих у него нет, ни денег. Ну, не скотина? Я на всякий случай подпалил ему будку, чтобы наперёд знал, что в приватизации главное — честь и достоинство, а остальное мы в гробу видели при всех вождах и режимах!

Всем друзьям и джентльменам, помнящим ласковую путану Алису, гостиница «Сибирь», верхние номера: срочно нужна финансовая помощь в СКВ. Срок отдачи — полгода. Вы меня знаете!

Самый ужасный пример массового уничтожения живых существ — это всемирный потоп. А известно ли сегодня точное число жертв? Существуют ли специальные мемориалы, посвящённые данному событию? Осуждался ли прогрессивной мировой общественностью зачинщик потопов?

Нашедших шестого июля сего года дипломат из крокодиловой кожи в районе автобусной остановки Ягодная, просим дипломат вернуть и внутрь не заглядывать. Лучше позвонить по указанному нами телефону, чем потом всю жизнь прятаться в Бишкеке или в какой-нибудь другой Уганде.

Мы обуем всю страну.

В ясный солнечный день зимой 1952 года на станции Тайга (Кузбасс) на ледяном катке (залитом, кстати, нами самими) некто Паюза — средний из семи братьев Портновых, обитавших на нашей улице (Телеграфной), дал, наконец, понять всем катающимся на катке, за что он вскоре сядет. Старшие братья Паюзы отправлялись в исправительные лагеря регулярно, вот и ему пришла пора. И сядет он за меня, за глупого Гену Прашкевича, ведь это я единственный на катке рассмеялся, увидев, как Паюза споткнулся на своих прикрученных к валенкам «снегурках» и упал.

Резко упал.

Такое бывает.

Но засмеялся я один.

Ещё в детстве поразила меня красивая таблица-схема, вложенная в монографию Вильяма К. Грегори «Эволюция лица от рыбы до человека» (Биомедгиз, 1934).

Пустые злые глазки, страшная разверстая пасть, ничего умиротворяющего, чистый ужас, почти машинный стандарт, — позже я не раз встречал акулье выражение на вполне, казалось бы, обычных лицах. Лукавая хитринка в чудесных, расширенных от волнения зрачках опоссума, — позже я не раз замечал её в глазах провинциальных, себе на уме, простушек, да поможет им Бог. Близорукие глаза долгопята с острова Борнео. Знаю, хорошо знаю писателя, который до сих пор смотрит на мир такими же близорукими глазами. Наконец, взрослый нахмуренный шимпанзе, надменно оттопыривающий узкие губы. Не самый близкий, но всё же родственник тем гамадрилам, что были расстреляны грузинским солдатом, заглянувшим в смутные времена в Сухумский заповедник. Хотелось бы мне увидеть этого небритого придурка, передёргивающего затвор. Он что, в самом деле считал сухумских гамадрилов террористами?

Я на всю жизнь запомнил таблицу Вильяма К. Грегори:

- девонская ископаемая акула,
- ганоидная рыба,
- зогиринус,
- сеймурия,
- триасовый иктидописис,
- опоссум,

- лемур,
- шимпанзе,
- обезьяночеловек с острова Ява, и, наконец,
- римский атлет, триумфально завершающий эволюцию.

И всё это — одно лицо. И всё это — наше сегодняшнее лицо.

С огромным изумлением я видел, что между обезьяночеловеком с острова Ява и пресловутым римским атлетом совершенно замечательно вписывается в таблицу бледное, вытянутое, как зеленоватый пупырчатый огурец, лицо среднего из семи братьев Портновых — Паюзы. Я забыл сейчас его имя, хотя длинное лицо с холодными глазами, никогда не меняющими выражения, с кустистыми, совершенно взрослыми бровями, мне не раз снилось. Вовка-косой, сутулый Севка, Мишка-придурок, Колька-на-тормозах, Герка, самый сопливый из семерых, наконец, ещё более сопливый Васька — всех отчетливо помню, всю большую тараканью семью Портновых, но имя Паюзы напрочь вылетело из памяти.

Мы росли на улицах своей железнодорожной станции; улица была нашим миром. *Своя улица, подчеркну я. Та, на которой тебя побить могли только свои.* Явись сюда чужаки, меня защищал бы даже Паюза.

Он был старше меня года на два (мне стукнуло одиннадцать).

Холодные глаза, кустистые брови, злые крепкие кулачки. В кармане потрёпанного полупальто всегда лежала заточка. Где-то в Сиблаге (кажется, под Тайшетом) самый старший Портнов — создатель Вовки-косого, сутулого Севки, Кольки-на-тормозах, Мишки-придурка, Герки, самого сопливого из семерых, ещё более сопливого Васьки и, понятно, Паюзы, о котором речь, отбывал свой срок — за убийство, а, может, за грабёж, это, в общем, не важно. Гораздо важнее (для меня) было другое: зимой 1952 года все на нашем катке узнали, наконец, за что теперь сядет и средний Паюза.

Лет с семи, а, может, ещё раньше — с пяти, а, может, вообще с самой первой прочитанной мною книжки я жил двойной жизнью. Были книги — свои, и те, которые я выпрашивал у приятелей, ещё книги приносил отец, ремонтировавший городскую библиотеку. Кстати, среди книг, принесённых отцом, попадались иногда поистине удивительные. И всё равно, даже самая лучшая из книг всё больше и больше подталкивала меня к странной мысли, что между книжным (прекрасным) и самым обычным (реальным) мирами есть разница.

В самом деле. Героический человек штурман Альбанов погибал, пытаясь спасти своих безнадежно потерявшихся во льдах товарищей, герои «Плутонии» обходили изнутри земной шар, они

знали, что даже в таком путешествии могут положиться друг на друга, а вот наш тайгинский конюх Рябцев, погуляв с друзьями, вышел на зимний двор в одном нижнем белье и никто его до самого утра не хватился. Я сам не раз пускал слезу над приключениями какого-нибудь маленького оборвыша, но, встретив такого же оборвыша на нашей улице, без раздумий пускал в ход кулаки.

Книги книгами, жизнь жизнью. Видимо, глаза пятнадцатилетнего капитана просто обязаны лучиться мужеством и умом, а вот в холодные глаза Паюзы, глубоко спрятанные под кустистыми бровями, лучше не заглядывать. Капитан Гаттерас может обойти весь мир, а конюх Рябцев никогда не бывал дальше Анжерки. Любой сосед мог при случае обложить соседа матом, а в книгах я читал и такое: «Для большинства млекопитающих, птиц или пресмыкающихся не могло быть особенно важно, покрыты они волосами, перьями или чешуей». Представляете? Большинству млекопитающих, птиц или пресмыкающихся, живи они на нашей улице, было бы наплевать на чешую или перья. Непонятно. И Колька-на-тормозах, и Паюза, и даже Мишка-придурок не отказались бы от тёплых волосяных покровов или чешуи на руках: наши сто раз подшитые валенки и чиненые-перечиненные «москвички» плохо нас грели. Читая о всяких млекопитающих, я содрогался от восторга, представляя себя или Кольку-на-тормозах в густых, до самых колен, волосах.

Настоящие мужики!

Евстихеевы.

Одиннадцать лет. В любой подворотне тысячи тайн.

Иногда всего один жест, одно слово определяют твою судьбу.

Катясь на своих «снегурках», Паюза споткнулся, взмахнул руками и опрокинулся на спину. Конечно, ему было больно, очень больно, но вот его глаза, я это видел, ни на секунду не изменили своего выражения. Маленький злой старичок (таким он мне показался), прекрасно знающий, что ему написано на роду.

Паюза, и вдруг упал!

Вот я и рассмеялся.

И сразу на шумном катке, оглашаемом визгом и криками, сгустилась пронзительная, бьющая по ушам тишина. Все прошлые предсказания, все неясные слухи сбылись. Раньше все только предполагали, что Паюза вот-вот сядет, а теперь пришла ясность: наконец-то Паюза сядет — за меня. Никто не произнёс ни слова, но странным образом все в одно мгновение поняли, что я обречён, а сам я будто уже почувствовал в боку смертный холод заточки.

Но Паюза не торопился.

Он медленно поднялся со льда.

Он медленно сунул руку в карман, но вовсе за ножом или заточкой, просто рука замерзла. Потом присел, отмотал ремешки коньков и молча, по-взрослому сутулясь, побрёл домой.

И я побрёл домой.

Тоже молча и тоже сутулясь.

Меня никто не преследовал, думаю, меня даже жалели. Хотя, чего уж теперь жалеть, дело ясное. Ну, не сегодня, так завтра Паюза меня всё равно убьёт. А завтра не получится — придёт послезавтра.

Ясный день, сугробы, дым над кирпичными трубами.

Дома было пусто. Солнце не по-зимнему весело играло на лакированных стойках самодельной этажерки, но меня это не радовало. На столе лежала толстая большого формата книга, видимо принесённая отцом, но даже книга меня не обрадовала. Мажорный, хорошо знакомый голос из чёрного радиорепродуктора разносился на весь дом: «И раз... И два... Начали... Не снижайте темпа...» Боже мой, каждый день один и тот же голос. «И раз. И два...» Неужели Паюза правда убьёт меня? «И раз. И два. Не снижайте темпа...»

Да что, собственно, изменилось в мире?

Сейчас включаешь телевизор, а там не лучше; там по экрану прямо с утра шарашится баба с огнемётом. «Ох, Лех-Леха! Мне без тебя так плёхо!». И город за окном — дымный, долгий.

Боже мой, неужели это навсегда?

Прижавшись спиной к кирпичному обогревателю печи, всё ещё чувствуя на себе холодный чужой взгляд Паюзы, я тоскливо взвесил на руке толстую, принесённую отцом книгу. «Происхождение видов». А если уж точно, то — «Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение избранных пород в борьбе за существование». 1935 год издания. Перевод академика К.А. Тимирязева, исправления и указатели академика Н.И. Вавилова, вводная статья академика Н.И. Бухарина. (Выходные данные я, конечно, внёс в текст сейчас). Толстая, добротная книга. С такой можно отсидеться до самой весны. Не могу я теперь выходить из дома, зарежет Паюза. Уже, наверное, отслеживают меня. Вот Колька-на-тормозах постучит в окно, идём, мол, на каток, что ему ответить? Теперь так и буду отвечать: не велено мне выходить на улицу, я вот «Происхождение видов» изучаю.

Вздыхнув, я раскрыл книгу.

И увидел слова: «Моему уму присуща какая-то роковая особенность, побуждающая меня всегда сначала предъявлять моё положение или изложение в неверной или неловкой фразе...»

Точно сказано! Со мной всегда так!

Я рассмеюсь сначала, а потом уже думаю.

Такая роковая у меня эволюционная особенность.

Но следующая фраза оказалась для меня ещё интереснее.

«Не во власти человека изменить существенные условия жизни; он не может изменить климат страны; он не прибавляет никаких новых элементов к почве, но он может перенести животных или растения из одного климата в другой, с одной почвы на другую; он может дать им пищу, которой они не питались в своём естественном состоянии...»

Я был поражён. Как точно сказано. Не во власти человека изменить существенные условия жизни. Действительно. Как изменишь?

Правда, можно перенести самих животных или растения из одного климата в другой и даже дать им пищу, которой они не питались «в своём естественном состоянии». Мне даже захотелось увидеть автора такой точной и совершенной формулировки, и я вернулся к первым страницам «Происхождения видов». В такой добротной книге непременно должен быть портрет автора.

Но, увидев портрет, я почувствовал настоящее отчаяние.

Паюза! Постаревший, стоптавшийся, но Паюза! Не знаю уж, где он раздобыл такую хорошую шерстяную куртку, украл, наверное. Борода. Ну, это ерунда. При желании можно вырастить не только бороду. Ну, большая залысина, но у Паюзы и сейчас уже лоб как у быка, может и темя обрить, оставил для красоты только седину над висками. Вот только с кустистыми своими мохнатыми бровями Паюза ничего делать не стал, смотрел на меня из-под них мрачно.

Потрясённый, я прочёл под портретом: *Чарльз Дарвин*.

Что ж... Почти месяц я ходил в школу дальними снежными тропками, обходил все подозрительные фигуры, старался не отдаляться от дома и школы. Я жил мучительно и трудно. Дома изучал Дарвина, на улицах скрывался от Паюзы. Ни ничто не длится вечно. Однажды до меня дошёл слух: сел Паюза! На целых три года сел! Вот оно — мгновение! Я могу выйти на волю. Не во власти человека изменить существенные условия жизни или изменить климат, но он, оказывается, и правда может перенести животных или растения (и даже человека) из одного климата в другой, с одной почвы на другую. Пока я штудировал Дарвина, Паюза попал совсем в другую историю. И вот, как сказал бы Дарвин, он получает теперь пищу, которой, конечно, не питался в своём естественном состоянии.

Так что, я вышел на волю дарвинистом.

Через много-много лет я рассказал эту историю Кристи Тернеру, знаменитому американскому антропологу, моему другу.

Он всю жизнь до этого считал себя последним истинным дарвинистом на свете, но со мной теперь таких стало два.

Надеюсь, мы всё-таки не последние.

ДУРИАН

В Малайзии, в жарком влажном Куала-Лумпуре, Миша Давиденко, опытный китаист, объездивший всю юго-восточную Азию, предложил мне и драматургу Сене Злотникову попробовать плод дуриана. Я-то пробовал, время ваше пришло. Запах у дуриана дерьмовый, предупредил он нас, щуря хитрые узкие умные глаза. Ну, скажем так, трудноватый запах. Но если победить его, сделать самый первый укус, о-о-о! — вас потом за уши никто не оттащит от этого дуриана. Даже на Северном полюсе будете мечтать о дуриане!

Сильная речь. Мы решились.

Мы купили круглый, как брюква, плод дуриана.

Мы выбрали зелёную и милую лужайку в самом центре Куала-Лумпура.

Как настоящие белые люди мы возлегли на траве, и Сеня Злотников достал из кармана изящный позолоченный ножичек, с которым объехал чуть не полсвета. Вас теперь от дуриана за уши не оттащишь, сказал Миша, любовно оглядывая голый и страшный плод. Жаль, он, Миша Давиденко, старый китаист, столько за свою жизнь этих дурианов съел, что ему полезнее выпить баночку пива. Он только на минутку отойдёт во-о-он туда, выпьет баночку пива и вернётся, чтобы, значит, оттаскивать нас за уши от полюбившегося нам дуриана.

И Миша отошёл. Выпить пива.

Было жарко — в тени далеко за сорок.

Мы с Сеней переглянулись. Прикрикни на нас в тот момент кто-нибудь, даже не полицейский, не было бы нужды оттаскивать нас за уши от дуриана, мы бы сами от него побежали. Мы даже вспомнили официальное предупреждение, помещённое на видном месте у входа в отель: «Плоды дуриана не вносить!». Одно утешение: указанное предупреждение в запретном списке отеля шло только вторым, после наркотиков. Правда, за внос наркотиков правительство Малайзии обещало смертную казнь.

«А что обещают за дуриан?»

Злотников мрачно пожал плечами.

Судя по тому, что дуриан идёт сразу после наркотиков. Ну, может, три пожизненных. Хотя климат тут не тот. Вряд ли в таком климате удастся отсидеть хотя бы одно пожизненное.

«Режь, — решился я. — Кусанем пару раз, и тогда пусть оттаскивают за уши».

Сеня сделал легкий разрез, почти незаметную легкую царапинку, нечто почти ненаблюдаемое, как марсианский канал, и на нас явственно и мощно пахнуло трупом. Во влажной тропической жаре этот страшный запах многократно усиливался. Обливаясь потом, оглядываясь, не спешат ли на полянку малайские полицейские оттаскивать нас за уши, мы торопливо зарыли плод (труп) дуриана в землю. Кстати, вместе с заслуженным позолоченным ножичком, о чём Сеня в те минуты нисколько не жалел. По крайней мере, когда в отеле, несколько отдышавшись, я предложил ему ещё раз смотаться на знакомую лужайку, Сеня покачал головой: «Лучше пожизненное».

ДУЭЛЬ РАВНЫХ

(Борис Штерн. Письмо)

«Писатель виден по тексту. Сразу.

Пусть он будет самым последним из чукчей, пусть правильно или неправильно расставляет слова, пусть его вкус и мера подводят — главное, чтобы текст был живой. С живым человеком всегда можно договориться. А если не договориться, ну, хотя бы по причине крайней отдалённости вкусов и характеров, то — разойтись, продолжая уважать друг друга. Если писатели подерутся, в этом тоже своя прелесть. Вот, скажем, Толстой и Тургенев. Жаль, что дело между ними всё-таки не дошло до дуэли; единственный, кажется, в мировой истории был бы пример, как стрелялись два больших писателя. Пришлось бы потомкам по-настоящему разбираться! А то Пушкин и Дантес, Лермонтов и Мартынов. Тут и разбираться не надо, кто прав, кто виноват. Конечно, Пушкин с Лермонтовым правы. Потому что они были *писателями*, а Дантес и Мартынов — только членами СП. Так вот».

В знаменитую Очёрскую палеонтологическую экспедицию я попал в 1957 году (опять в прошлом веке) по приглашению Ивана Антоновича Ефремова — учёного и писателя. «Мы выезжаем в поле 20 мая, — писал мне Анатолий Константинович Рождественский, занимавшийся делами экспедиции, — но поскольку ты будешь сдавать экзамены (в школе), то приедешь на место основной работы уже после экзаменов. Выедешь по следующему адресу: Пермская область, станция Верещагино. От Верещагино сядешь в автобус или автомашину (попутку) и проедешь до города Очёр. Из Очёра пройдёшь пешком 8 км до села Семёново и ещё дальше по этой же дороге до животноводческой фермы колхоза. В Семёнове или на ферме спросишь, где работает экспедиция, и найдёшь нас неподалеку от фермы, выше по ручью. Мы прибудем на указанное место только в середине июня, поэтому из какого-то пункта я pošлю тебе телеграмму о твоём выезде, чтобы ты не приехал на пустое место раньше нас. Терпеливо жди».

Я терпеливо ждал.

И выехал сразу по телеграмме.

И весь указанный путь проделал самостоятельно, появившись перед Чудиновым уже прямо на раскопках. Вороша рукой свои светлые волосы, Петр Константинович удивленно сказал: «Я думал, ты пришлёшь нам телеграмму из Верещагино». Я посмотрел на него непонимающе: «Вы же писали, что я должен добраться сам». Это ему понравилось.

Иван Антонович болел, к сожалению, приехать в Очёр в тот год не смог, но его присутствие чувствовалось. Каждую неделю почта приносила письма и бандероли. Елена Дометьевна Конжукова, жена Ефремова и сама палеонтолог, была чрезвычайно щедра и книги, присланные ей, тут же попадали в наши руки: томик только что переизданного наконец Александра Грина, роман Чэда Оливера «Ветры времени», повести Хайнлайна и Гамильтона, «Кибернетика и общество» Норберта Винера, Джеймс Конрад — «Зеркало морей». Эти книги в немалой степени отражали вкус Ивана Антоновича.

Я был счастлив. Дни мои были заполнены работой.

Два мощных бульдозера снимали тонкий пласт породы.

В паре с кем-то я шёл за ревущим трясущимся чудовищем, и

как только в серой породе выявлялось оранжевое пятно, отмечавшее возможную окаменелость, бульдозер останавливали. Вся научная группа (П.К. Чудинов, Е.Д. Конжукова, А.К. Рождественский, Николай Иорданский и будущий академик Леонид Петрович Татаринев) сбегалась к находке. Определялась степень повреждения костей, в отвалах разыскивался каждый фрагмент. Найдённая окапывалась, обшивалась досками, получившийся прочный ящик переворачивался, заливался гипсом. Все эти монолиты мы отправляли в Москву. Кстати, именно на тех раскопках найдены были останки позднепермского дейноцефала («страшноголового»), позже названного в честь Ефремова — «Ивантозавром меченосным» (*Ivantosaurus ensifer*).

Самого Ефремова я увидел уже в Москве — широкоплечий, грузный, чуть картавящий. В руках клетчатый платок — жарко. Поглядывает с некоторым удивлением. В виде поощрения я живу прямо в Палеонтологическом музее. Под гигантским скелетом диплодока брошен спальный мешок, сумеречно темнеют парейазавры, за стеклянной витриной — отполированный временем череп доисторического бизона с круглым (пулевым якобы) отверстием.

«Кто на него охотился? — улыбается. — А ты перечитай «Звездные корабли».

«Почему начал писать фантастику? — он задумывается. — Видимо не устраивала система доказательств, которой оперируют учёные». Тут же объяснил: у любого учёного, плох он или хорош, накапливаются со временем какие-то собственные замыслы и наблюдения. Практического применения они почти не находят, вот и получается: с одной стороны, всяческие, иногда очень остроумные гипотезы, с другой — невозможность поддержать эти гипотезы строго научными доказательствами».

Иван Антонович разворачивал клетчатый носовой платок.

«Тогда я начал писать фантастические рассказы. Они понравились читателям».

Август. Вечер. Большая Калужская. Я счастливо крутил головой, пытаюсь заглянуть в открытые окна кафе «Паланга». Оттуда несло вкусными запахами. Там, внутри, красивые взрослые люди ели, пили, там крутился огромный волшебный вентилятор под самым потолком. Самое время, вздыхал я про себя, поговорить о чём-то особенном, о всяких тайнах науки, о фантастике, но Иван Антонович к моему безмерному удивлению почему-то предпочитал другие темы. Например, ни с того, ни с сего спросил, прочёл ли я «Анну Каренину», что там случилось в этой несчастной семье?

Я кивнул: а то! В школе проходили.

А если прочёл, спросил Ефремов, то чем там всё закончилось?

Совсем уж странно, подумал я. Интереснее же рассуждать о Джозефе Конраде, о ветрах времени, зеркалах морей, при чём тут про семью Карениных?

Но я ответил честно.

Нормально там всё закончилось.

Анна Аркадьевна бросилась под паровоз, старенький Каренин занялся вопросами образования, Фру-Фру сломала хребет, и всё такое и прочее.

Иван Антонович даже остановился. И я остановился, потому что ничего не понял.

О чём это он? Это я сейчас вспоминаю о Ефремове. Герои его романов летали к другим мирам, спорили с самим Пространством-Временем, устанавливали связь с обитателями самых отдалённых созвездий, а тут — Анна Аркадьевна... флигель-адъютант... лошадь...

Кому это нужно?

О будущем надо говорить.

«Девушка взмахнула рукой, и на указательном пальце её левой руки появился синий шарик. Из него ударил серебристый луч, ставший громадной указкой. Круглое светящееся пятнышко на конце луча останавливалось то на одной, то на другой звезде потолка. И тотчас изумрудная панель показывала неподвижное изображение, данное очень широким планом. Медленно перемещался указательный луч, и так же медленно возникали видения пустынных или населённых жизнью планет. С тягостной безотрадностью горели каменистые или песчаные пространства под красными, голубыми, фиолетовыми, желтыми солнцами. (Читая это, я невольно вспоминал любимую свою книжку — «Астробиологию» профессора Г.А. Тихова). Иногда лучи странного свинцово-серого светила вызывали к жизни на своих планетах плоские купола и спирали, насыщенные электричеством и плававшие, подобно медузам, в густой оранжевой атмосфере или океане. В мире красного солнца росли невообразимой высоты деревья со скользкой чёрной корой, тянущие к небу, словно в отчаянии, миллиарды кривых ветвей.

Другие планеты были сплошь залиты тёмной водой. Громадные живые острова, то ли животные, то ли растительные, плавали повсюду, колыхая в спокойной глади бесчисленные мохнатые щупальца...».

Вот оно — истинное будущее.

А Каренина? Да проходили мы этот роман.

Иван Антонович даже остановился. И по его помрачневшим

глазам я вдруг почувствовал, что нашей (пока ещё не сильно долгой дружбе) может наступить неожиданный конец. Похоже, я ответил ему неправильно.

«Вернёшься домой, перечитай и напиши мне».

И я вернулся. И принёс книгу из библиотеки. И перечитал.

И в процессе медленного внимательного чтения (в школе мы так никогда не читали) вдруг каким-то неясным образом стало доходить до меня, что Лев Николаевич роман свой написал, видимо, не столько ради несчастной Анны Аркадьевны, сколько ради последней восьмой части, которую я прежде даже и не читал, принимая её за что-то совсем необязательное, ненужное.

«Уже стемнело, — тревожно вчитывался я, — и на юге, куда он (Левин) смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния, и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на треугольник звёзд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звёзды исчезали, но, как только потухала молния, опять, будто брошенные какой-то меткой рукой, появлялись в тех же местах...»

Я вдруг физически увидел это вспыхивающее и потухающее небо.

И это небо необыкновенно поразило меня. Как и помещика Левина, впрочем.

«Ну что же смущает меня? — думал Левин (а с ним теперь думал и я). — Мне лично, моему сердцу открыто несомненное знание, непостижимое разумом, а я упорно хочу разумом и словами выразить его».

Знание, непостижимое разумом.

Эти слова меня по-настоящему раздавили.

Когда Кити, жена Левина, негромко спросила: «А, ты ещё не ушёл? Ты ничем не расстроен?» — при свете очередной молнии Левин только улыбнулся. «Она понимает. Она знает, о чём я думаю». Но в ту минуту, как Левин уже совсем было решил рассказать ей о своих размышлениях, о своих важных и внезапных прозрениях, она сама заговорила. «Сделай одолжение, поди в угловую и посмотри, как Сергею Ивановичу всё устроили. Поставили ли там новый умывальник?».

И Левин вышел, не сказав что-то важное.

И снова навалилось на него то, от чего он вроде бы оттолкнулся.

«Так же буду сердиться на Ивана кучера, так же буду спорить, некстати высказывать свои мысли, — подумал он. — Так же будет стоять стена между мной и другими, даже между мною и женой

моей». Вечность и непонимание. Непонимание и вечность. «Всё же жизнь моя теперь, независимо от всего, что может случиться, не только более не бессмысленна, как прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в неё!».

Сложно, не просто сказано.

Тёмная вечность, тёмное непонимание.

Я вчитывался, я упорно пытался пробиваться к сути.

Я сравнивал прочитанное с тем, как я тогда сам жил. Я вспоминал, как ведут себя наши соседи и совсем незнакомые люди. И когда, наконец, написал Ивану Антоновичу о том, что же всё-таки случилось в семье Карениных, он ответил мне без задержки, и мы с ним не просто дружили долго-долго, но сама наша переписка приобрела совсем новое измерение.

Ёптышев Николай.
Скотник из деревни Мошково.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ ДОМАШНИЕ

Покупаем на лотке бананы.

Разговорчивая продавщица выпытывает у Стёпы (внук младший): «Ну, кошка там, или собака? Или кролики? Ну, может, попугай или черепаха? Есть же у тебя какие-нибудь домашние животные?».

Стёпа (сумрачно): «Дед только».

ИМЯ ДЛЯ ГЕРОЯ

Не самое легкое дело подобрать литературному герою запоминающееся имя.

Чаще всего для этого используют списки любимых футбольных команд, там фамилии перемешаны без всякого порядка, выбирай любую.

Но Сергей Александрович Другаль (Свердловск), прекрасный фантаст, да ещё доктор технических наук, академик и генерал-майор, сам придумывал имена для своих героев. Я видел у него бумажные листки с набросками, от которых дух захватывало. Скажем, сеньор Окотетто. Что к этому добавить? Или сеньор Домингин. Такому родную дочь можно доверить. Или Ферротего. Этот, конечно, изобретатель. А Липа Жих? Такие женщины, как Липа Жих, нравятся крепким уверенным в себе мужчинам, если, конечно, Липа Жих женщина. Ещё Мехрецки. Ну, тут всё понятно. Мехрецки он и есть Мехрецки, а Глодик и Зебрер — его близкие приятели. Блевицкая и Шабуню — этих я бы и в дом не пустил, нечего им делать в моём доме. Но если говорить всерьёз, среди героев Сергея Александровича больше всего привлекала меня чудесная белокурая девушка, порождённая прихотливой фантазией академика. Добрая, любящая, немножко застенчивая, отзывчивая, конечно. Так и было записано на листке: «Разбойники вели тихую нелёгкую жизнь, а с ними девушка Дефлорелла».

РЕВИЗИОНИСТ

В 60-е, когда от Китая отшатнулись многие его прежние друзья, кому-то из руководящих китайских товарищей, может,

министру иностранных дел Чэнь-бодэ, а может, самому генералу Линь Бяо пришла в голову превосходная мысль — пригласить в страну какого-нибудь известного зарубежного писателя и пусть этот известный зарубежный писатель напишет честные объективные очерки о великой культурной революции и вообще о положении дел в стране.

Почему-то выбор пал на моего друга — болгарского поэта Божидара Божилова.

В Пекине известного болгарского поэта поселили в гостинице «Шанхай». В бесчисленных её номерах, предназначенных только для иностранцев, жил тогда всего один иностранец — Божидар Божилов, приглашённый министром иностранных дел Чэнь-бодой или генералом Линь Бяо для написания честных объективных очерков о великой культурной революции и вообще о положении дел в стране.

Питался Божидар в чудовищно огромном и в столь же пустом ресторане.

Бар на горизонте был почти не виден. Когда появлялся китайский официант, Божидар отправлял его к бару за рюмкой китайской водки и тот послушно уходил в долгую и, наверное, опасную экспедицию. По крайней мере, наполненную рюмку не всегда приносил именно тот же официант. Прикончив рюмку, Божидар незамедлительно отправлял официанта обратно. Это повторялось много раз, но ни одному китайскому официанту в голову не пришло принести не рюмку, а сразу всю бутыль.

Из гостиницы Божидара не выпускали, никто его не навещал, читать китайские газеты и многочисленные дацзыбао он так и не научился, хотя скоро начал воспроизводить мотив всем известной песни «Алеет восток».

А дни уходили.

Даже недели уходили.

Однажды, утомлённый одиночеством, испытываемым им в одном из самых перенаселённых городов мира, Божидар разнервничался.

«Послушайте, — сказал он маленькому переводчику, днём и ночью, как тень, следовавшему за ним. — Я приехал в Китай написать честные объективные очерки о великой китайской культурной революции и вообще о положении дел в стране, но я никого не вижу, ни с кем не встречаюсь, даже не могу выйти из гостиницы, а окна в моём номере занавешены такими хитрыми шторами, что я не могу их открыть».

«Вы говорите, как ревизионист, — ответил переводчик, часто и укоризненно кивая чёрной головой, украшенной прямым китайским пробором. — Мы создали вам все условия, вам надо

лишь сестра за стол и написать честные и объективные очерки о великой китайской культурной революции и вообще о положении дел в стране. Если вы готовы, мы сегодня же предложим вам черновик ваших будущих очерков».

«Какой черновик? Я не знаю, о чём писать! — возмутился Божидар. — Мне нужны встречи с живыми людьми. Есть в Пекине живые люди? Я требую встреч со своими коллегами китайскими писателями!»

«Вы говорите, как ревизионист, — егромко и опасно повторил переводчик, всё так же часто и укоризненно кивая, — но мы пойдём вам навстречу. Завтра вы получите полный черновик ваших будущих честных и объективных очерков о великой китайской культурной революции и вообще о положении дел в стране, и завтра же вы встретитесь с молодыми революционными писателями Китая, вышедшими из народа. Вы даже можете задать им любые вопросы, но лучше задать их сейчас мне, тогда писатели смогут правильно подготовиться. Мы даже провезём вас по улицам столицы, конечно, в сопровождении специальных людей».

«Зачем мне ваше сопровождение? Разве я член ЦК или американский шпион?» — неудачно пошутил Божидар.

Переводчик не ответил.

Он часто и укоризненно кивал.

На расстоянии метра всё вокруг него покрылось корочкой льда.

Тем не менее, на другой день трое крепких молчаливых мужчин в униформе привезли Божидара в закрытой машине к огромному каменному сумрачному зданию и по бесчисленным пустым коридорам провели в такой же огромный и сумрачный кабинет. Божидар хорошо знал, что каждый четвёртый человек на земном шаре — китаец, но тут его обуяли некоторые сомнения: ведь он жил в Китае уже три недели и практически никого, кроме переводчика, официанта и этих вот сопровождающих, не видел. К счастью в кабинете на длинной деревянной, покрытой искусным узором скамье, метрах в трех от стола, предназначенного для Божидара и переводчика, сидели семь молодых китайцев, поразительно похожих друг на друга. Сходство усугублялось синей униформой. Над головами молодых китайцев, аккуратно на прямой пробор причёсанных, висел величественный портрет Великого Кормчего.

«Вот перед вами молодые революционные писатели Китая, вышедшие из народа, — с особенным значением объяснил переводчик Божидару Божилову. — Тот, который сидит слева, это наш будущий Горький, рядом с ним — наш будущий Чехов, а

рядом с Чеховым — будущий Маяковский, а ещё дальше — будущий Фадеев, и будущий Серафимович...

«Почему будущий?» — перебил Божидар.

«Потому что тот, который сидит слева, работает в булочной. А тот, который сидит рядом с ним — фельдшер. А другой — рисует революционные дацзыбао. А вон тот — руководит партийной ячейкой...»

«А где писатели, которых я когда-то читал? Где великие артисты, которых я когда-то видел на сцене? Где мой давний товарищ Лу Синь? Где мой друг товарищ Лао Шэ? Где товарищ Хэ Лу-тин?»

«Вы говорите, как ревизионист, — негромко, но твёрдо произнёс переводчик. — Лучше спросите наших молодых революционных писателей, какие идеи Великого Кормчего вдохновляют их творчество?»

Божидар внимательно взгляделся в молодые, абсолютно одинаковые, никаких чувств не выражающие лица, и спрашивать ничего не стал. В тот же день упрямого иностранца, позорно не справившегося с порученным ему важным делом, посадили в старенький самолет «Фарман» и по воздуху вывезли из Китая в близлежащий советский город Хабаровск.

Испуганный нелёгким перелётом в потрёпанной доисторической машине Божидар в Софию поехал поездом, желая ещё раз убедиться в том, что между Китаем и Болгарией лежат очень даже немалые советские территории. Он надеялся, что пока он едет домой, вся эта история забудется.

Но так ему лишь казалось.

Через неделю после возвращения Божидара в Софию, к нему домой явился человек в тёмных очках и в профессиональной шляпе.

Человек этот сухо осведомился: «Другарь Божилов?»

И не ожидая ответа, предложил: «Пройдёмте!»

На секунду Божидар испугался. Ни с того, ни с сего пришло ему в голову, что другарь Тодор Живков, тогдашний генсек болгарской Коммунистической партии, большой друг Великого Кормчего, решил выдать его, как ревизиониста, молодым революционным китайским властям.

К счастью, дело обошлось всего лишь официальной нотой.

«Товарищ Божидар Божилов, — зачитали поэту в посольстве официальную ноту, — был приглашён в Китай для написания честных и объективных очерков о великой китайской культурной революции и вообще о положении дел в стране.

К сожалению, товарищ Божидар Божилов не оправдал возложенных на него надежд, он повёл себя в Китае как

отъявленный ревизионист.

Учитывая это, китайские власти официально заявляют:

а) если товарищ Божидар Божилов, ревизионист, когда-нибудь пожелает получить обычную гостевую визу в Китай, в гостевой визе товарищу Божидару Божилову, ревизионисту, отказать;

б) если товарищ Божидар Божилов, ревизионист, когда-нибудь пожелает получить обычную транзитную визу через Китай, в транзитной визе товарищу Божидару Божилову, ревизионисту, отказать;

в) если товарищ Божидар Божилов, ревизионист, когда-нибудь попросит в Китае политическое убежище, в последнем ему, товарищу Божидару Божилову, ревизионисту, отказать...».

ЗАГАДКА

Будучи в Абакане, обратил внимание на памятник Ленину.

Как обычно, кепка и пиджачок помечены голубями, брюки пыльные, правый башмак в солевых налётах, а вот левый всегда блестит, славно начищен. Несколько дней по два-три раза в день мы проезжали мимо этого памятника. И всегда левый башмак идеально начищен. Не выдержав, я спросил сопровождающую, а в чём тут дело? Неужели некий местный патриот успевает за ночь почистить только один левый, обращённый к площади башмак вождя, а второй не успевает до приезда полиции? Сопровождающая улыбнулась. Да ладно вам, какая полиция! Ходит по утрам по городу моечная машина с механическими щётками. А щётки, как вы понимаете, могут пройти только по тому башмаку, который обращён к площади...

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ

Мой друг, молодой узбекский (советский, конечно) писатель Хаджиакбар Шайхов начинал свою литературную деятельность в газете. В данном случае, в ташкентском отделении «Комсомольской правды».

Сразу скажу, там было не скучно.

*Весенние приходят дни в твоих глазах сиять, колхозник,
Пахать на тракторе начни, соху пора бросать,
колхозник, —*

читал в пыльной редакции только что народившиеся поэтические строки молодой, чисто выбритый журналист Амандурды.

*Живу на свете я давно — такая не пекла жара!
Как прадедовское вино, нас изнутри сожгла жара, —*

вступал в импровизированный поэзоконцерт заслуженный деятель узбекской поэзии Азиз-ака, покрытый густыми глубокими

морщинами, как доисторическая черепаха.

Слушая старших коллег, Хаджиакбар обдумывал свои собственные фантастические рассказы и пьесы. Он писал в духе раннего Брэдбери, но более оптимистично. Например, узбекские фотонные корабли доставляли на далёкую планету Марс семена особо ценных сортов хлопчатника. Действительно, куда их ещё доставлять, если Аральское море почти полностью высохло и пешком можно изучать печально обнажённое, выжженное солнцем дно когда-то полноводной Аму-Дарьи?

В один из привычно палящих и знойных дней Хаджиакбара вызвали в кабинет Главного редактора.

«У тебя ответственное задание, — взволнованно сообщил Хаджиакбару Главный. — Справишься ли?»

А почему нет? Ответственное задание — это, понятно, прежде всего, гонорар выше обычного. Конечно, он, Хаджиакбар, справится. С любым заданием справится. У него молодая жена, малый ребёнок, почти никаких побочных доходов — почему же он не справится?

Тогда Главный взволнованно произнёс: «Поедешь в район».

И, понизив голос, назвал имя крупного партийно-хозяйственного деятеля (мы его тут называть не будем), от которого у Хаджиакбара испуганно защемило сердце.

«Это большая честь, — громко и взволнованно объяснил Главный. — Это акт высокого доверия. Все наши видные журналисты улетели в Москву, освещают работу Пленума ЦК КПСС, никого не осталось в газете кроме тебя, — посмотрел Главный на Хаджиакбара с неожиданным сомнением. — Конечно, остался ещё Маджид, но у него беда, он пьёт, он может не сдержаться. — Главный даже отмахнулся сразу двумя руками от некоей ужасной мысли, мелькнувшей в его сознании. — А Саид в Учкудуке — на золоте. Наше золото всегда нужно родине. Так что пора тебе расти. Пришла пора тебе расти».

Главный сделал долгую паузу и закончил:

«Об одном только прошу. Увидишь Хозяина, не торопись, не бросайся сразу с рукопожатием, не открывай рта, жди, будь мудр, не выступай первый, трижды подумай, прежде чем сказать хотя бы слово».

И вдруг посоветовал совсем странное:

«А руку Хозяин протянет, не смутись поцеловать».

И Хаджиакбар поехал в одно из тех загадочных узбекских хозяйств, где в восьмидесятые годы прошлого века на потаённых хлопковых полях, не внесённых ни в какие плановые реестры, выращивали миллиарды никем не учтённых советских рублей. «О, Аллах, — шептал про себя Хаджиакбар, ведя старенький горбатый

«запорожец» сквозь низкие тучи жёлтой узбекской пыли. — Спаси меня от бед. Подскажи мне самые верные слова».

Но Аллах молчал, жара палила неимоверно, и мохнатыми от белых хлопьев (вездесущий хлопок) казались телеграфные провода.

Зато в приёмной Хозяина было сумеречно и прохладно.

Это несколько успокоило Шайхова, он даже смахнул пот со лба.

Он даже подумал: наверное, на местного Хозяина много наговаривают. Завистников много. Если и есть у Хозяина зинданы (ох, есть, подсказывало журналистское сердце), то тайные, совсем небольшие. Ведь вон какой улыбчивый у Хозяина секретарь — важный и толстый. И у него всего три подбородка, значит, знает меру. А секретарь в свою очередь рассматривал молодого и запылённого ташкентского журналиста. Наконец, пришёл к каким-то выводам и укоризненно почмокал толстыми (в меру) губами.

«Ты счастливчик, товарищ Шайхов. Тебя, товарищ Шайхов, выбрала удача. Она повернулась к тебе лицом. Сегодня у тебя большой день. Ты представишь нашего Хозяина на страницах республиканских и московских газет».

Руку для поцелуя секретарь, к счастью, не протянул, видимо, это являлось прерогативой самого Хозяина.

«Писать о Хозяине — большая честь».

Сказав это, поднялся и подошёл к окну.

«У тебя есть машина?»

Хаджиабар ответил утвердительно.

И, несколько робея, тоже подошёл к окну.

В широком, затенённом несколькими запылёнными джиддами дворе два крепких человека в тубетейках и стеганых полосатых халатах, обливаясь потом, глотая желтую пыль, большой тоталитарной красоты люди, дружно сталкивали в арык старенький битый «запорожец» Шайхова.

«О, Аллах, оторви им руки!» — безмолвно взмолился Хаджиакбар.

Но Аллах и в этот раз не отозвался на зов. Пришлось с горечью признать: «Кажется, у меня нет машины». Язык не поворачивался произносить такие ужасные слова, но какой-то дальней частью сознания Хаджиакбар понимал, что появление в чудесном тенистом дворе потрёпанного старого «запорожца» каким-то необычным образом унижало Хозяина. Хаджиакбар как бы даже явственно расслышал стоны и рыдания людей, упрятанных в подземный зиндан (пусть тайный и небольшой) только за то, что они тоже чем-то не угодили Хозяину.

И правильно сделал, что согласился.

«У тебя есть машина!» — строго сказал секретарь.

И тотчас один из тех, кто спускал в арык потрёпанный шайховский «запорожец», приветливо помахал рукой глядящим из окна людям и той же рукой ласково похлопал по капоту новенькой белой «Волги».

Сразу же последовал новый вопрос: «У тебя есть квартира?»

«Совсем однокомнатная... совсем в панельном доме, — неуверенно кивнул Шайхов, представив вдруг, как в его крошечную квартирку вваливаются с ломami в руках вот такие крепкие большой тоталитарной красоты люди. — Совсем рядом с рынком. Совсем в поселке имени Луначарского...»

«Ты всегда должен говорить нам правду, — непонятно покачал головой секретарь. — Твоя квартира находится в центре Ташкента. У тебя удобная кухня, три прохладных комнаты, кабинет».

Секретарь произносил все эти слова доброжелательно, но строго.

Потом протянул ключи в дрогнувшие пальцы журналиста. «Ты сам подумай. Как можешь ты писать о Хозяине, живя в посёлке имени Луначарского в тесной комнате прямо над шумными рядами рынка?»

И задал самый страшный вопрос: «У тебя есть жена?»

Вот на этот раз Хаджиакбар испугался уже по-настоящему.

«О, Аллах! — взмолился он про себя. — Останови этого доброго и могущественного человека!» Свою жену Хаджиакбар любил. «Если в новой квартире у меня теперь удобная кухня, три прохладных комнаты и кабинет, и я приеду в центр Ташкента в новенькой белой «Волге», пусть меня там встретит моя жена!» Неужели, с ужасом подумал он, меня встретит там другая, умная и строгая женщина с большим убедительным партийным стажем и с тремя, так сказать, уже готовыми, правильно воспитывающимися партийными детьми? Отмахиваясь от таких мыслей, он спросил:

«А когда я смогу поговорить с самим Хозяином?».

«Зачем ты хочешь говорить с ним?» — искренне удивился секретарь.

«У меня задание Главного редактора. Я должен срочно доставить материал о Хозяине в редакцию».

«Ох, уж эта молодёжь, — укоризненно покачал головой секретарь. — Зачем торопиться? Время идёт. Оно само идёт. Надо только правильно думать. У тебя сегодня большой день. Ты растёшь, ты начинаешь вникать в суть текущего времени. Ты стоишь в начале многих важных вопросов. Ты начинаешь

постигать правду. Она проста, сам видишь. Вот новая машина. Вот удобная квартира в хорошем столичном районе. Там в тенистом дворике бьёт прозрачный фонтан, играет медленная музыка. Езжай домой, товарищ Шайхов. Тебе выписан достойный гонорар, твоё статья о Хозяине уже в наборе. Над нею трудились лучшие умы солнечного Узбекистана, она целиком и полностью одобрена партией. Ответственные и зрелые люди помогают тебя понять правду».

И протянул Шайхову пухлую руку:

«Поздравляю! У тебя большой день!»

Шайхов рассказал мне эту длинную историю в Ташкенте, на кухне своей прекрасной прохладной квартиры. Совсем новой квартиры. Он смотрел в сторону, он старался не смотреть на меня. На нём был новый халат, мы пили хороший узбекский коньяк. «Я ведь поступил правильно?» Хаджиакбар не спрашивал этого вслух. Зачем слова? Они просто подразумевались. «Мы же — идеологические работники», — пытался он и меня приблизить к своим чудесным преобразованиям. «Наша правда всегда шире обывательской».

Древние люди были.

Один человек лося убил.

Чомон-гул — «большое мясо».

Жена за мясом пошла. В сендуху пошла.

Грудное солнце блестело — женское украшение на груди.

Младшая дочь сказала: «Снег люблю. С тобой пойду тоже мясо брать».

Мать строго ответила: «Не ходи», а сама ушла. А когда вернулась, увидела: дочь к лосю одна ушла тайком. Нежная, как лапка ягеля. Дошла до убитого лося. «О, Чомон-гул! О!». Сухой снег смела веткой с головы лося. «О, Чомон-гул! О!» Страшно стало. Мохнатое лицо лося открыв, смотреть на него стала. В мёртвых глаз черноту смотреть стала. «О, Чомон-гул! О! Старший брат, когда тебя догнал, в сердце твоём, наверное, худо сделалось. В сердце твоём, наверное, боль встала». Домой вернувшись, сказала: «Не будем есть зверя больше». Отцу и братьям, соседям сказала: «О! Чомон-гул так страдал! Больше не будем бить лося».

Так будучи, голодали. Многие люди, обессилев, слегли. Мох сосали, плакали. Шамана позвали: «Зачем такое? Почему надо терпеть?» — «Упомянутая девушка в смутную черноту глаз убитого лося смотрела, — ответил шаман. — Упомянутая девушка с жалостью всем сказала: «О, Чомон-гул! О!» С большой жалостью такое сказала, духи слышали. Теперь, пока девушка с нами, есть мясо нельзя».

Спросили: «Что с этим что сделаем?».

Шаман ответил: «Упомянутую девушку убейте».

«Почему убить? Если так сделаем, разве нам лучше станет?»

Шаман сказал, повторил даже: «Если все умрём — это совсем худо».

Немедленно убили девушку.

«Пусть теперь один охотник пойдёт. У кого сохранились силы, пойдёт». Ещё полдень не наступил, а посланный охотник уже убил большого лося.

С тех пор стали убивать.

С тех пор поправились.

В 1948 году появился в нашем классе пацан.

Адольфом назвали его родители, верившие когда-то в мир с Германией.

А фамилия у пацана была простая — Захаров, и прозвище простое — йети.

На уроках Адольф сидел на первой парте прямо перед учителем, впрочем, это не спасало его от пулек, нарезанных из медной проволоки. Пущенная с резинки, накрученной между большим и указательным пальцами, такая пулька легко пробивала узкое нежно просвечивающее мальчишеское ухо. Ходил Адольф с опухшими рваными ушами, как дурной слон. Не верили мы ему. Конечно, время от времени учителя разоружали нас, но... двести миллионов... всех не разоружишь. В самых вопиющих случаях появлялся в классе директор школы — хромой, немногословный, вечно седой тип. Он не искал виновных. Просто заставлял двух-трёх (не обязательно провинившихся) вытягивать перед собой руки и от всей души лупил линейкой по голым ладоням. По глазам было видно, что понимает: это не лучшее решение проблемы. Ведь чем больней наказание, тем больше потом наваляют Адику.

Однажды мы писали сочинение на тему «Кем я хочу стать».

Мы тогда много кем хотели стать: летчиками, моряками, водителями, железнодорожными машинистами, геологами, даже учителями. Тем интереснее было узнать, о чем мечтает наш Адольф, кем он мечтает быть?

Его сочинение оказалось самым коротким.

Он уложился в одно слово.

«Адольфом».

Ах, Ким! Ах, Владимир Сергеевич!

Он был крупный, как сивуч, и лицо, как у настоящего сивуча — всё в шрамах.

Но, конечно, никаких шрамов не было, — только морщины. Зато глубокие, резкие.

Я переводил стихи Ким Цын Сона, скорее, искал правильную интонацию. Потом мы искали эту интонацию вместе с Володиёй Горбенко. Восточная поэзия ближе к музыке, написание иероглифов — как создание партитуры.

*Маленький краб, выбиваясь из сил,
тщётно старается к морю пробраться...
Горькая участь: зелёной волной
выброшен в камни, опутан травой,
брошен в песках —
задышаться.*

Родился Ким Цын Сон 11 сентября 1918 года во Владивостоке.

С четырёх лет без отца, с десяти — без матери. В 1937 году разделил участь многих дальневосточных советских корейцев. Кто сейчас помнит Постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) от 21.08.37 за № 1428-326 «О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края в Среднюю Азию»? Ким Цын Сону повезло: высланный, он сумел каким-то образом поступить на иностранное отделение Кзыл-Ординского пединститута, и с 1946 года уже в Ташкенте преподавал родной язык в школе для корейцев. Там же в Ташкенте издал первые книги, и это действительно можно считать чудом: ведь до 1953 года высланные с Дальнего востока корейцы вообще находилось на положении спецпереселенцев.

Но времена понемногу менялись.

В 1955 году Ким Цын Сон вернулся на Сахалин.

*Как тогда я взволнован, о море!
Тридцать лет для тебя, что за срок?
Только вот*

*кожу сморщило время,
валуны превратило в песок.*

В Южно-Сахалинске Владимир Сергеевич руководил единственной корейской газетой «По ленинскому пути». Даже для корейцев других путей в то время не существовало. Но в 1968 году по указанию первого секретаря Сахалинского обкома партии П.А. Леонова была закрыта единственная на весь остров корейская школа. «Если школу закрыли, кто в будущем будет читать нашу корейскую газету?» — спросил на партактиве Ким Цын Сон.

П.А. Леонову слова поэта не понравились. К тому же, по случаю двадцатилетия со дня образования КНДР в той же газете «По ленинскому пути» появилась ошибочная, на взгляд первого секретаря, статья, в которой якобы слишком возвеличивалась роль бывших корейских партизан. Из редакции Ким Цын Сон был изгнан. Чтобы прокормить семью, устроился завхозом в школьную столовую.

Все делали вид, что ничего особенного не произошло.

Иногда переводы стихов Ким Цын Сона появлялись в журналах «Дальний восток» (Хабаровск), «Байкал» (Улан-Удэ), «Сибирские огни» (Новосибирск). Даже в софроновском «Огоньке» прошла какая-то переведённая нами миниатюра.

Время от времени мы с Володиёй Горбенко приходили в небогатый, но гостеприимный дом Владимира Сергеевича. Загадочная корейская кухня, таинственные приправы, настойки, стихи. На корейском и на русском.

Впрочем, читая свои стихи, Ким Цын Сон только делал вид, что у него есть будущее. Он уже тогда знал, что умрёт завхозом. Это страшное тайное знание сохраняло его душу и никакой партийный секретарь, даже первый, ничего с этим поделать не мог.

Переделкино.

Дом творчества писателей.

В библиотеке выступает Август М. - поэт.

Длинные чёрные волосы, нервно кусает длинные ногти, смотрит на мир долгим невыразимо скромным взглядом. «Я пишу по-якутски и по-французски. Меня знают в Якутии и во Франции. Я многие годы живу почти в полной изоляции от мира. Целью творчества для меня является само творчество. Все великие творят ради абсолюта, ради вечности. Моя миссия: открыть людям глаза на главный двигатель мирового искусства — лепру. Я думаю, что искусство человеческое вообще порождено лепрой. Пройдя через лепрозорий, я понял, что проказа — это не болезнь, это состояние мирового духа. Все так называемые здоровые люди — больны».

«Прочтите свои стихи, пожалуйста».

«Да, сейчас прочту. По-французски».

«Понятнее будет, наверное, по-русски».

«Я не пишу стихов на этом варварском языке».

Голос из зала: «Ну, тогда прочтите по-якутски».

Поэт величественно отворачивается и перестаёт нас замечать.

P.S. Вот странно, это всё напомнило мне роман Г. Шилина «Прокажённые».

В книжке библиографа А.В. Блюма «Запрещённые книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991; Индекс советской цензуры с комментариями» (2003) о романе рассказано следующее. «Навестив заболевшего проказой товарища, Георгий Шилин был потрясён судьбой заболевших. Жизнь лепрозория и стала темой его романа, выдержавшего три издания в 1930–1931 гг. В колонию прокажённых, заброшенную на край света, приезжает новый доктор, явно психически ненормальный. Он заиклен на утопической идее — создать «Республику Прокажённых», собирает больных, произнося пространные речи. По его мнению, на земле нет иных классов, кроме двух: здоровых и прокажённых. В связи с такой расстановкой сил, доктор предлагает совершить революцию против здоровых, выбросить их из государства прокажённых, больные вполне управятся и без них! В этом исключительном государстве, развивает доктор свою идею, будет возведена своя

культура, создано общество, выше которого нет, и не будет никакого другого. Там вообще не будет больше никакой классовой борьбы! К чёрту! Долой так называемых здоровых! Прокажённые всех стран, соединяйтесь!».

Поистине, под Луной ничто не ново.

АРХИПЕЛАГ

Остров Линдос.

Огромный чудесный пляж.

На скалах выбиты огромные буквы.

«Просьба полиции — не заниматься любовью».

ЛЕКТОР

«В этом случае функция удваивается не в четыре, а в три раза!».

16 января 1987 года писатель Михеев выступал в Доме учёных.

Люди собирались неспешно, и мы с ним прошли в ресторан — выпить кофе.

«Я теперь фантастику не пишу, — вдруг покачал головой Михаил Петрович. — Мне знаний не хватает, Мартович. Фантастику должны писать люди, разбирающиеся в науке. Не знаю, как там у иностранцев, а у нас ты сам посмотри. Обручев — геолог, Ефремов — палеонтолог, Казанцев — инженер, Днепров — физик. Чтобы писать фантастику, надо иметь научный склад ума, Мартович, а я просто электрик. Перед Ефремовым, например, я просто робею. Это, по-моему, уже и никакая не фантастика. Просто очень знающий человек пытается разговаривать с тобой на своем особенном языке, предполагая, что ты этот язык понимаешь. Окончательно от фантастики, Мартович, меня отпугнул московский писатель Евгений Рысс. Прочитав мою «Тайну белого пятна», он так прямо и указал на какие-то там «дурацкие провалы» в Восточной Сибири. Я, конечно, не разбирался и не сильно разбираюсь в геологии, но Евгений Рысс убедительно доказал, что я действительно дурак».

Михеев вздохнул: «А геологам моя книга почему-то нравится».

«Я ведь рос сам по себе, Мартович. В тридцатые годы работал монтером в электроцехе в Бийске, писать фантастику даже не думал, зато с удовольствием сочинял стихи. «В фабкоме встретились шофёр и комсомолка». А однажды на свадьбу своего друга Кольки Снегирева, написал песню. «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шофёров». Городская газета в скором времени разразилась статьей об ужасном состоянии алтайских дорог, о частых авариях, о плохой дисциплине. Да и какой может быть дисциплина у наших шофёров, если они поют такие песни? — спрашивал автор статьи, приводя строчки из песни о Кольке Снегиреве. Вот утром на работе я и услышал. «Михеев! В особый отдел!» Я шёл, Мартович, и у меня ноги дрожали. Из особого отдела в те годы куда угодно можно было отправиться. Ну, я вошёл, снял кепку. За столом особист в форме. Он долго и молча смотрел на мои оттопыренные уши. А я тоже молчал. Я, как только вошёл, увидел, что на столе перед ним

лежит тетрадный листок с переписанным от руки текстом моей песни.

Наконец особист спросил: «Твоя работа?»

Смысла не было врать. Я и не врал: «Моя...»

«Послушай, Михеев! — помолчав, с силой ударил особист кулаком по столу. — Ты же у нас поэт! Мы тебя учиться отправим!»

Я, Мартович, всегда хотел писать так, чтобы главного героя было за что любить. Пусть даже он будет самым обыкновенным электриком, как я сам. Вот ты, скажем, что о добыче алмазов знаешь? Ну вот. И я тоже в городе Мирный спросил у рабочих на разрезе, как они обращаются с найденными алмазами. «Вот, скажем, наткнулись вы в отвалах породы на большой алмаз. Сразу понесёте его бригадиру, или вызовете специальных людей?» Рабочие, Мартович, выпучили на меня глаза. «Ты что, дед, обалдел?» — «Да это почему?» — спрашиваю. — «Да потому, дед, что если мы увидим алмаз, хоть самый маленький, то побежим от него быстрее!» — «Да почему?» — «А потому, дед, что если кто-то из нас принесёт начальству найденный под ногами алмаз, то этого смельчака сразу возьмут за жопу и спросят: а где второй?»

«А поэзия, Михаил Петрович? Вы же начинали со стихов».

«А от стихов, Мартович, меня отпугнула Елизавета Константиновна Стюарт. Она, наверное, хороший человек, но после моей книжки «Лесная мастерская» во всеуслышание заявила, что всё то, что я пишу, не является поэзией, никогда не было поэзией и никогда не будет поэзией. Может, и права была. Кто знает? Поэт не должен походить на нормального человека».

«Это как?» — удивился я.

«А вот есть у нас в писательской организации один человек, которого я по глупости своей долгое время не считал поэтом. Иван Матвеевич. Такое имя. Сочинитель. Но однажды, Мартович, во времена сухого закона зашёл я с приятелем в забегаловку, которая у Центрального рынка. Когда вошли, я сразу заметил, что в полупустом зале сидит за столиком Иван Матвеевич, сочинитель. А на тарелке перед ним — отварная курочка, как у всех. И он нехотя ковыряет курочку вилочкой. Неважно, что под столиком сочинитель припрятал чекушку, какой же ты поэт, так все тогда делали. Михаил Сергеевич (Горбачев) запретил людям держать чекушку на столике, вот люди и держали её под столиком. Мы с приятелем заговорили о своём, увлеклись, а потом я нечаянно обернулся. И знаешь, Мартович. Напрасно, совсем напрасно не считал я Ивана Матвеевича поэтом! — Михеев негромко рассмеялся: — Прошло всего-то каких-то минут

двадцать, а чекушка стояла перед Иваном Матвеевичем на столике, а отварную курочку он прятал под столиком. Как говорят шахматисты, перепутал порядок ходов. Сделает глоток, нагнётся и тихонечко ковыряется вилочкой под столиком. Ну, скажи, разве не поэт он?».

МОНОГРАФИЯ

В монографии «Чукчи», изданной в 1934 году Институтом народов Севера ЦИК СССР в количестве всего двух тысяч экземпляров, этнограф и писатель Владимир Германович Богораз-Тан страшно дивился нелепому и прихотливому бюрократическому усердию столичных дореволюционных статистиков.

«Когда местные казённые учёные, — записывал он, — затевали собирание статистики по своим собственным домыслам, не списывая их с казённых образцов, результаты получались ещё более оригинальные. Так, в архиве одного из камчатских поселков я нашёл копию статистического рапорта следующего рода:

Пётр Рыбин.....23 года от роду.

Семен Тимофеев.....43 года от роду.

Иван Домошонкин.....47 лет от роду.

Дарья Семёнова.....35 лет от роду.

Павел Насонов.....41 год....

И так далее, так далее.

Вплоть до итога:

Всей деревне.....2236 лет от роду».

ВОЛОДЕ БОРИСОВУ

Хакасия.

Степь, ветер.

Сумеречный горизонт.

Ветер разводит траву волнами.

Человек любит не жизнь, говаривал Платон. Человек любит хорошую жизнь.

Там и тут в ветреной синеве разбросаны по древним холмам фаллические каменные изваяния. На одном, самом большом, двухметровом, выведено на самом верху губной помадой: «Оля

была здесь».

МЯГКАЯ ИГРУШКА

Стёпа (внук младший) объясняет нарисованную им картинку.

«Ну, чего тут непонятного, дед? Это вот ёлка. А это на ёлке сидит гусь. А это под ёлкой играет мальчик. Он подбросил над собой мягкую игрушку».

НИ БОГА, НИ ИДОЛОВ

«В то время ещё ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивелляторах вообще, — писал Салтыков-Щедрин в «Истории одного города». — Тем не менее, нивелляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивелляторы «хождения в струне», нивелляторы «бараньего рога», нивелляторы «ежовых рукавиц» и проч., и проч. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека, ради сравнения со сверстниками, лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особенного благополучия от сего не произойдёт, но для сохранения общественной гармонии это полезно и даже необходимо. Сами нивелляторы отнюдь не подозревали, что они — нивелляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастии подчинённых и подвластных им лиц...»

Мы не раз обсуждали теорию «нивелляторства» с Аркадием Стругацким, и однажды он с горечью мне сказал: «Знаешь, Генка, а ведь более красивой идеи, чем коммунизм, человечество пока не придумало».

НЕНАПИСАННЫЕ КНИГИ

«Силос на берегу Маклая».

История сибирского бухгалтера, посланного (по ошибке) на сезонные сельхозработы в Новую Гвинею.

«Если бы ты никогда не носила одежду».

«Обалденный мужик! Ты уже отдалась ему?»

«Человек, который давал советы Богу».

Не столько, правда, давал, сколько жаловался.

«Да что такое в мире творится? Будь у него окна, все стёкла давно бы выхлестали».

«Все девы Урука».

Даже пересказывать не берусь.

«Новогоднее представление».

На сцене темно, ёлки засыпаны мерцающим, как звёздочки, снегом. Сквозь завывание вьюги доносится дальний зов: «Ва-а-

аняя!» В ответ так же издалека: «Ма-а-аняя!» Маня откликается: «Ва-а-аняя!». И Ваня опять вопиёт: «Ма-а-аняя!» И так пробиваются друг к другу сквозь новогоднюю тьму, наполняя надеждой сердца маленьких зрителей, пока после самой радостной ноты со стороны бедной Мани не доносится доброжелательный вой волков.

«Умная кукуруза».

Хрущёвские годы. Самый разгар оттепели. Опытный селекционер, тайный ученик Сергея Сергеевича Четверикова, конечно, морганист-вейсменист, вывел всё-таки, подлец, совершенно новый сорт кукурузы. Крепкая, агрессивная. Сама защищается от колхозников.

«Новое о Миле».

Урок по русскому языку, 7 класс.

Перед вами картина В.И. Хабарова «Портрет Милы».

Представьте, что вы неожиданно вошли в комнату Милы и увидели свою подругу в необычной позе. Вы невольно рассматриваете её лицо, руки, одежду. Что нового вы узнали о Миле?

НАДЕЖДА

В Хабаровске (1967 год) в кафе «Алые паруса» недопивший Валера Шульжик, прекрасный поэт, за бутылку «Столичной» продал случайному человеку только что написанное им стихотворение. Мы это стихотворение почти и не услышали. Вдруг полыхнуло, обожгло, исчезло. Записав слова на бумажной салфетке, Валера передал её своему случайному покупателю. Ни улыбки, ни внешности, только низкий голос покупателя остался в памяти: «Учти. В двадцать первом веке это стихотворение войдёт во все мировые школьные хрестоматии». — «А под чьим именем? — рассмеялся Валера. — Хотя какая разница. Всё равно не доживу».

Не дожил, к сожалению.

Идёт двадцать первый век.

Журналов мало, хрестоматии издаются редко.

Где, где оно, пропитое Валерой замечательное стихотворение?

ЗА ОКНОМ

За окном, в небе, чёрном, как развал мокрых берёзовых листьев, гроыхнуло — тяжело, с раскатом. И запрыгал неистово, заохал, запульсировал пронзительно ледяной свет молний. И так же вспыхивал, так же гас твой силуэт. Каждую секунду, при каждой новой вспышке он оказывался чуть в другом положении. Казалось, ты никогда не обернёшься ко мне. И когда в этой судорожной и бесконечной пляске теней и света я случайно столкнулся со стола фужер, мне показалось: это — навсегда, это теперь никогда не кончится, фужер не достигнет пола.

Но он достиг.

И разбился.

А ты поворачивалась, поворачивалась ко мне и никак не могла повернуться.

И пока ты так поворачивалась, я тысячи раз видел тебя в этих ледяных ночных вспышках. И пока ты так поворачивалась, я тысячу раз, и всегда по-другому чувствовал тёмный ход времени, на который мы не обращаем внимания. Ещё вчера толклись в силурийских лагунах серые илоеды, ещё вчера юрские динозавры, ревя, ломились сквозь душные заросли беннеттитов, ещё вчера резвые гиппарионы огромными стадами бежали от преследующих их гиен, так когда же, чёрт нас возьми, мы успели стать существами, способными не только убегать от охотников или преследовать свою жертву, но и верить, вопреки собственному опыту верить, что фужер, упавший со стола, никогда не достигнет пола?

ОБРАЗ

И.И. Лажечников. «Ледяной дом», 1835.

«Государыня села в первую карету с придворной дамой постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула её гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьяновый сапожок, и за княжной полезла её подруга, озабоченная своим роброном...»

ОЗАРЕНИЕ

«Дай-ка я догадаюсь: второму ты тоже не дала».

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Собираемся в гости.

Стёпа (внук младший) составляет памятку:

*Руки вымать
Сесть куда предложат
Бери что близко
Кушать не спеша
Полотенцем
Благодарить*

ПЕРЕД ЛОТКОМ

«Эти диски лицензионные?»

«Практически да».

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА

Вот ещё пример.

В 1983 году Саша Петров, известный югославский поэт, мне пожаловался.

«Вот я пишу на сербском. Перевожу на английский. Издал в Америке несколько антологий русской поэзии. Русский по происхождению, мои стихи печатались в Италии и в Японии, во Франции и в Британии. Везде я свой, а в России не переведено ни одного моего стихотворения!»

Мы сидели с Петровым в ресторане Дома ученых в Академгородке.

«Неужели, — спрашивал Саша, — я не заслуживаю публикации на родном языке?»

«Конечно, заслуживаешь! — успокаивал я Сашу. — Обещаю, что переведу и напечатаю твои стихи в «Сибирских огнях», в нашем старейшем советском сибирском журнале».

Пришло время — я вспомнил об обещании.

Вспомнил, и достал с полки подаренную мне книжку — «Словенска школа».

И позвонил в редакцию «Сибирских огней». Из редакции мне

ответили: «А что ж, конечно, переведите стихи Петрова. Хорошая русская фамилия. Он не диссидент? С вражескими радиостанциями не сотрудничает?».

Я сказал: Петров — свой парень.

И раскрыл эту «Словенску школу».

Будет паскудно, подумал я, если у Саши Петрова, прекрасного поэта, живущего в Югославии и пишущего на сербском, не найдётся ни одного стихотворения, которое нельзя будет напечатать в старейшем советском сибирском журнале. Ещё паскуднее будет, подумал я, если все стихи Саши Петрова годятся для публикации в нашем старейшем советском сибирском журнале.

Ага, вот! Стихотворение «Смольный»!

Я даже удивился. «Смольный», и ещё не переведён?

Но, вчитавшись, понял, что передо мной вовсе не революционная баллада. Институт благородных девиц... выпускной бал юной мамы Саши Петрова, будущей эмигрантки. Она ещё смеётся, она ещё кружится в счастливом вальсе. Ей в голову не приходит, что скоро по паркету Смольного затопают тяжёлые сапоги революционных матросов.

В старейшем советском журнале сомлеют от такого стихотворения, подумал я. Там, в редакции, все с деревьев падают. Но мне очень, мне действительно очень хотелось познакомить читателей со стихами замечательного югославского поэта Саши Петрова. Мало ли что жизнь его мамы сложилась не совсем традиционно. Потому и бегала от большевиков, что происходила из благородных. По-сербски — *племенитих*.

С inferнальным упорством я искал нужное стихотворение.

Меня радовал образный ряд, радовали неожиданные ассоциации.

Вот, скажем, стихотворение под названием «Перец Маркиш».

«И Луна висела над строем хмурых сибирских стрелков, как кривая улыбка коммуниста, загнанного по ошибке ЦК на два метра под землю».

Я радовался: какой зоркий поэт Саша Петров!

«Но взвод сибирских стрелков расстреливает не поэта Переца Маркиша, а поэзию идиша».

От таких стихов в редакции «Сибирских огней», думал я, точно все с деревьев падают.

Книжка небольшая.

Стихи хорошие, но их мало.

И вдруг в самом конце длинное стихотворение «Зимняя элегия».

И эпиграф там не из какого-нибудь паскудного Эзры Паунда,

а из Пушкина. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» Не просто так. Вот они — стихи для старейшего советского сибирского журнала!

Заокеанская скука.

Американский город Балтимора.

Долгий дождь, холодный тяжёлый ветер.

Замечательный югославский поэт Саша Петров, отчитав лекцию в местном университете, вспоминает родную Адриатику. Хорошее патриотическое чувство, одобрительно подумал я. Переведём мы, переведём сейчас это чудное патриотическое стихотворение. Вот только телефонный звонок...

К чёрту эти звонки! Не поднимай трубку!

Но Саша Петров телефонную трубку поднял.

И услышал (как и я) негромкий прокуренный голос.

«Саша, что ты делаешь там в этой промозглой американской дыре? Беги отсюда! Беги на свой светлый нежный Ядран! Там синь морская. Там яркое Солнце! Там речь славянская!»

Вот! — понял я. Вот они — прекрасные стихи прекрасного поэта для нашего прекрасного старейшего сибирского советского журнала. Ох, только бы собеседник Петрова не назвался.

Но он назвался: «Иосиф».

И, скажем так, не было это просто эстетическим несовпадением.

ПРОКАЖЁННЫЕ В БЕНАРЕСЕ

Прокажённых сжигают в Бенаресе.

Дым над гхаткхой стоит так высоко, что сам Господь вынужден привстать на цыпочках, чтобы видеть внизу суетный человеческий муравейник.

Году в восемьдесят втором или восемьдесят третьем в Пицунде, в Доме творчества, в прекрасный летний вечер поднялся ко мне в номер писатель Автандил Рухадзе. «Геннадий, — неторопливо сказал он, — зачем сидишь в номере? Хватит работать. Давай спустимся вниз в пацху, выпьем немного молодого вина, скушаем копчёного мяса, попробуем свежий сыр».

А почему бы и нет?

Работа никуда не денется.

Мы спустились в пацху и в дружеских разговорах до поздних сумерек просидели у тёплого очага. Сквозь настежь раскрытые двери смотрели звезды, шумело близкое море. Мы пили молодое вино, кушали копчёное мясо, пробовали свежий сыр.

Но даже самые долгие праздники кончаются.

Неторопливо приблизился к столу хозяин — медлительный пожилой абхазец в ослепительно белой рубашке. Спросив, понравилось ли нам у него, и, получив ожидаемый ответ, он всё так же медлительно извлёк из нагрудного кармана своей белой рубашки крошечные деревянные счёты, почти игрушечные, и толстым умелым пальцем тщательно подсчитал сумму, в которую обошёлся нам этот чудесный праздник. При этом хозяин сам смотрел на звезды, прислушивался к шуму моря, радовался тому, что мы получили удовольствие в его заведении, но, когда он, наконец, назвал итог своих подсчётов, я обалдел. Я и до этого слышал в Абхазии не всегда разумные цифры, но эта...

А вот Автандил нисколько не удивился и так же неторопливо, так же доброжелательно, как хозяин пацхи, прикинул свой вариант. «Послушай, дорогой, — так он его прикинул. — Получается, что мы выпили у тебя по семь литров молодого вина, скушали по три килограмма копчёного мяса и попробовали целых три круга свежего сыра?»

Хозяин пацхи нисколько этому не удивился.

Неторопливо и радушно, как и полагается вести себя хозяину такого недорогого, такого гостеприимного заведения, он снова вынул из нагрудного кармана своей ослепительно белой рубашки крошечные деревянные счёты, и снова надолго впал в чудесный транс своих благожелательных вычислений. При этом он туманно смотрел (не знаю, видел ли) на нас, на перемигивающиеся звёзды, прислушивался к морю. Наверное, он знал что-то своё особенное

об окружающем нас мире. Ну, семь литров молодого вина... Ну, три килограмма копчёного мяса... Ну, три круга свежего сыра...

«Почему нет? — подвел он итог. — Так и получается».

КОГДА-НИБУДЬ

14 февраля 1993 года накануне столетнего юбилея советского писателя-фантаста Абрама Рувимовича Палея я побывал у него на Полтавской улице в Москве — неподалеку от стадиона «Динамо». Он плохо слышал, маленький складный костяной старичок, зато хотел всё знать. Написав романы «В простор планетный», «Гольфштрем», «Остров Таусена», он и сейчас интересовался многим. Вот, например, как радиоволны проходят сквозь каменные стены? Или полностью ли останавливается ли движение атомов при абсолютном нуле? Или почему рыбы бывают двоякодышащими?

Спрашивая, Абрам Рувимович успевал жаловаться на гостей.

Вот приходят иногда без звонка, жаловался он, а потом недосчитываешься на полках редких книг. По какой-то неведомой ассоциации Абрам Рувимович вспомнил сотрудницу давнего довоенного ещё журнала «Революция и культура». Она принимала у него стихи, никогда их не печатала, но часто жаловалась на жизнь. У неё и тесная комната в коммуналке. У неё и одиночество. И пишущую машинку продать не может: орудие труда, профсоюз запрещает. А другая сотрудница того же революционно-культурного журнала все беседы с молодым поэтом и фантастом Палеем заканчивала строгими и простыми словами: «Вы, наверное, вредитель». Она не спрашивала, она это утверждала. Конечно, Палей отнекивался, переводил разговор на астронома Леверье. Этот Леверье попросил ботаников назвать безымянный прежде цветок Гортензией. Так звали любовницу знаменитого астронома. К сожалению, Гортензия довольно быстро изменила господину Леверье, а вот переименовывать цветок ботаники не стали.

«Вы, наверное, вредитель», — одобряла слова Палея сотрудница журнала «Революция и культура».

В свои сто лет поэт и фантаст Палей был полон любопытства.

Вот, скажем, самолёты. Каким образом они всё-таки летают? Вот вы, например, откуда прилетели? Говорите, из Новосибирска? Ну, ну. Как же всё-таки эти самолёты держатся в воздухе? Говорите, перепад давлений под плоскостями...

«Вы, наверное, вредитель».

Что-то Палея мучило, какой-то невысказанный вопрос

бушевал в пучинах неумеренной многолетней души. До поры до времени он смирял себя, читал собственные стихи, потом рассказал, как ещё до войны (отечественной, разумеется) известный советский поэт-песенник, даже знаменитый, можно сказать, поэт украл у него несколько строф, превратив в популярную песню. Стихи Палея, напечатанные в ежемесячнике «Свободный журнал», начинались словами:

*Город замер в сонной дымке
гаснет зарево зари,
и на ножке-невидимке
блещут бусы-фонари, —*

а у знаменитого поэта-песенника эти слова звучали так:

*Вечер реет в белой дымке
в ярком зареве зари,
и на ножке-невидимке
блещут бусы-фонари.*

«Вы, наверное, вредитель».

Как держится самолёт в воздухе?

Я качал головой. Ну, ну. Не сразу ответишь.

Но когда я уходил, писатель-фантаст Палей, автор популярных книжек, выходявших в свет ещё задолго до моего рождения, приподнялся в кресле. Он улыбнулся загадочно. Четыре часа, говорите? Ну, ну. Целых четыре часа самолёт по воздуху летит из Новосибирска в Москву и все эти четыре часа держится в воздухе? Ну, ну.

Абрам Рувимович умело выдержал паузу и потряс в воздухе сухоньким кулачком:

«Запомните, молодой человек, когда-нибудь они будут летать ещё быстрее!»

РАЗБЕРУТСЯ

Николай Константинович Гацунаев, мой хороший друг, писатель, много лет проживший в Узбекистане, рассказал о приятеле, жившем, правда, не в Ташкенте, а в весьма отдалённом от него городе — Минске. Занимался этот приятель фермерством. Однажды в полдень на тракторе «Кировец» он распахивал свекловичное поле. Работа однообразная, пыльная, рядом

скоростное шоссе. Трактор рычит, машины рычат, всё под тобой дергается. Устал, подогнал трактор к обочине. На глазах равнодушной ко всему шоферни, неумоимо мчащейся по скоростному шоссе, устроил на старом пне нехитрую закуску, выставил чекушечку.

Рабочему человеку сто граммов не во вред, у каждого свои устоявшиеся привычки. Отведя локоть в сторону, фермер приготовился принять привычный вес, но в этот ответственный момент кто-то требовательно постучал его по плечу. «Иди ты!» — отмахнулся фермер, зная, что местные алкаши запах алкоголя чувят за много км.

И всё же обернулся.

В глаза ему, опираясь на тяжелые, блестящие, расплзающиеся под его собственным весом кольца, пристально смотрел гигантский тропический питон.

Фермер даже раздумывать не стал, чего тут раздумывать?

Одним движением он расшиб злосчастную чекушечку о пень и с этой обеззараженной водкой «розочкой» бросился на вторгнувшегося в его жизнь питона. Особой веры в успех он не испытывал, но отступать не желал, надеялся на помощь — ведь машины одна за другой катились по скоростному шоссе.

По словам Гацунаева, битва титанов длилась минут двадцать.

Кровь фонтанами. В пылу борьбы совсем уже распутившийся питон бил хвостом чуть ли не по летящим мимо автомобилям, но ни одному водителю даже в голову не пришло остановиться и узнать — не причиняет ли гигантское пресмыкающееся каких-либо неудобств человеку рабочему, разумному?

Зачем мешать?

Разберутся.

РАЗГОВОР С ТУРГЕНЕВЫМ

Чего этот Герасим такой тупой? Я сильно переживал за Муму. Решил даже позвонить Тургеневу. Это класс второй, наверное, никак не позже. Под именем писателя Тургенева в книжке стояли цифры: 1818–1883. Дураку ясно: номера телефонов. Вот я и набрал первый. Трубку взяла какая-то женщина.

«А можно Ивана Сергеевича?».

Женщина очень нелюбезно ответила. «Вечером звони. Он сейчас в вагонном депо. Дежурство».

СКОЛЬКО У НАС ВРЕМЕНИ?

В чудовищно жаркий день (в тени за сорок) в 1987 году мы с Николаем Константиновичем Гацунаевым оказались по неотложным делам в центре Ташкента. В издательстве имени Гафура Гуляма нас ждал договор на составление сборника романов популярного в пятидесятые годы фантаста Сергея Беляева.

«Мы не опаздываем? — спросил Гацунаев. — Сколько у нас времени?»

Я взглянул на маленький экран отечественных электронных часов, месяц назад подаренных мне на день рождения, и честно ответил: «Пятьдесят семь часов девяносто четыре минуты». Вот сколько тогда было у нас времени!

САТИР

Тихая поэтесса из небольшого волжского городка, — шатенка под сорок, неразговорчивая, задумчивая, не замужем, детей нет, никаких порочащих связей, стихи печатались в «Нашем современнике»; в круизе по Средиземному морю проявляла большой интерес к блошиным рынкам. Ребята из Верхоянска, расписавшие на палубе очередную «пулюку», с наслаждением шлепали подержанными картами, и время от времени осведомлялись: «Что за город?»

Поэтесса отвечала: «Стамбул». Или: «Ираклион». Ребята не отставали: «Тепло тут у них». Потом снова жмурились: «А сейчас что за город?» Поэтесса отвечала: «Афины».

Верхоянцы жмурились: «И у них тепло».

Солнце и море, вот до чего они дорвались.

Зато волжская поэтесса не пропустила ни одной стоянки.

На берег сходила с группой, потом как бы нечаянно отставала. Кто-то заподозрил, что поэтесса скупает антисоветскую литературу (шёл 1982 год), но в это никто не поверил. Она же печатается в «Нашем современнике». Да и замечали поэтессу всё больше в обычных торговых рядах. Там среди бижутерии, тряпок, старой посуды, потемневших от времени гравюр и съеденных коррозией монет изредка попадались мощные, литые из чугуна статуэтки греческих сатиров.

«Есть на что посмотреть».

Один такой сатир напрочь сразил стеснительную поэтессу.

Всё у него было крупное, налитое, чугунное, и вообще в этих делах размер и цвет всё-таки имеют значение. Так что, однажды на борт теплохода «Украина» скромная волжская поэтесса поднялась с тяжёлым свёртком в руках. А на обратном пути, в Одессе, уже пройдя таможенный контроль, я вдруг случайно увидел плывущий по ленте элегантный чемодан поэтессы. Ну, плывёт и плывёт... Но что-то меня остановило... Вот чемодан вошёл в чрево просвечивающей аппаратуры, высветились книжки, безделушки, туфельки.

И вдруг — сатир!

Поистине — крупный!

Даже осатанелый какой-то.

Пограничников он удивил так, будто им милицейским жезлом отсалютовали.

Чемодан немедленно сняли с ленты, стеснительную волжскую поэтессу увели, и года два я ничего не знал о её судьбе. А потом как-то встретил московского приятеля, который в тот (давний же) день проходил таможенный досмотр сразу после поэтессы, он-то и рассказал. Проблема, по его словам, упёрлась тогда не в самого сатира, а, понятно, в его достоинство. По нормативам таможни у типичного греческого сатира ни в коем случае не должно было быть всего этого более семи сантиметров, а там, на тебе! — все пятнадцать! Не знаю, кто там устанавливал нормативы, но факт налицо.

«Неужели отобрали?» — пожалел я поэтессу.

«Ты что! — возмутился приятель. — Она ведь не прятала своего приобретения, она даже чек сохранила и документ, подтверждающий то, что сатир имеет не столько художественное значение, сколько прикладное. К тому же, не на украденные деньги он был приобретен, а на свои кровные, полученные за стихи о добре, любви, нежности, дружбе народов. В итоге, спилили сатиру часть его осатанелого достоинства, и вот вам, пожалуйста! — въезжайте на территорию советской империи».

«Боже мой! Неужели она теперь делит жизнь с чугунным калеккой?»

«Плохо ты знаешь наших волжан, — успокоил меня приятель. — Мастеровитый народ. Они друг за друга горой. Нашлись, наверное, умельцы, приварили тому сатиру недостающие сантиметры».

Валериан Скворцов выглядел как младший лейтенант запаса в отставке или как крупный землевладелец. Так он сам говорил. Квартира на Дмитровке была набита редкостным китайским фарфором из Золотого треугольника, резными стульями мандаринов. Когда-то Валериан служил в Иностранном легионе. Никаких этих комбат-батяня. Убьют твоего рядового, повышения не получишь. В Азии привык к жесточайшей дисциплине. Неточность москвичей его убивала. Отсутствие морали убивало. Вот сосед — греческий посол — водит к себе весёлых девок. Вот человек из серьёзной организации опаздывает на встречу чуть ли не на полчаса. Он наливал виски и смеялся: «В Москве, беседа с новым человеком, надо много говорить, чтобы, не дай Бог, не услышать собеседника».

Четыре европейских языка, китайский.

Фарфоровая улыбка.

Книги.

ВИКТОР КОЛУПАЕВ*(Из письма. 23.IX.1991 год)*

«Всегда хотел виртуозно играть на фортепиано.

Классическую музыку довольно хорошо знал, собирал пластинки любимых композиторов, а в школе радио слушал. В 1963 году купил рояль, тогда лишь третий год был женат, и дочь была маленькая. В квартире ничего, кроме кровати и этажерки, ну стол, кажется, был. И вот я купил в комиссионке старый разбитый беккеровский рояль длиной более двух с половиной метров. Вместо одной ножки подставил берёзовый чурбан. Сам научился настраивать рояль, причём он был настолько разбит, что играть на нём можно было ну день от силы. Мне из гитарного сделали ключ плоскогубцами, и этим ключом почти каждый день я свой рояль настраивал. Видимо, у меня был такой возраст, когда учиться не хватало терпения. Но играл, играл, сочинял что-то своё, получал удовольствие от самого процесса извлечения звуков. Поднимал крышку и перебирал клавиши в порядке, одному мне ведомом. Если дома никого не было, мог играть часами. Лет шесть у меня стоял этот рояль. А потом я вдруг получил двухкомнатную квартиру. Появилась другая мебель, образовалось больше пространства, и тому роялю не хватило места. Пришлось отдать, просто кому-то подарили. А взамен купили пианино. И вот звук нового инструмента оказался для меня настолько неприятным, что я к клавишам его перестал прикасаться. А какой прекрасный голос был у того разбитого рояля, какое ощущение полёта...»

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

Владимир Иванович Савченко.

Рассматривая храм, поставленный в Екатеринбурге на месте снесённого Ипатьевского дома, он бормотал: «Бить, бить попов!» Первая публикация — «Как лиса фрица к партизанам привела», 1943 год, второй класс. В шестьдесят восьмом году, приехав в Москву, договорился о встрече с Иваном Антоновичем Ефремовым, которого ставил на голову выше любого

современного писателя. К сожалению, разговор не получился — оба сильно заикались. В апреле 2003 года мы выступали с Владимиром Ивановичем перед любителями фантастики в Киеве. Своё горячее выступление Владимир Иванович закончил словами: «Боюсь, третьей мировой нам не избежать». И побледнел, услышав из зала весёлый голос: «Ну и что?»

ГРИЦЮК

Это не город Новосибирск подарил нам замечательного художника Николая Грицюка. Это художник Грицюк подарил нам огромный сибирский город.

ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ *(из письма)*

«В литературе, видите ли, в отличие от шахмат, переход из мастеров в гроссмейстеры зависит не только от мастерства. Тут надо явиться в мир с каким-то личным откровением. Что-то сообщить о человеке человечеству. Тургенев открыл, что люди (из людской) — тоже люди. Толстой объявил, что мужики — соль земли, что они делают историю, решают мир и войну, а правители — пена, только играют в управление. Что делать? Бунтовать — объявил Чернышевский. А Достоевский открыл, что бунтовать бесполезно. Человек слишком сложен, нет для всех одного счастья. Каждому нужен свой ключик, своё сочувствие. Любовь отцветающей женщины открыл Бальзак, а Ремарк — мужскую дружбу, и т. д. А что скажете миру вы?»

В 1985 году (в пошлом веке уже, в прошлом веке) писатели томские Володя Шкаликов и Саша Рубан сторожили в тундре склад динамита. Где-то под Сургутом. Вахтовую команду доставляли на место службы на самолёте. Отпахал полмесяца, потом столько же отдыхаешь. Понятно, мучили комары, мошка. Но жаловались вахтовики не на комаров, а на отсутствие спиртного. То, что прихватывали с собой, как правило, выпивалось в первый день. Потом сиди и кукуй, делать на складе нечего.

Однажды в июле, за день до возвращения в Томск, Володя вытащил из рюкзака удачно скрытую им бутылку спирта. «Гуляем, ребята! День рождения!» Понятно, вахтовики, а их было трое — Саша, Володя и ещё один умный паренёк из Томска — сильно обрадовались, а тот, который умный, даже хлопнул себя по колену, дескать, как же это так? День рождения! Такой напиток и под тушёнку!

«Можно под макароны», — заметил скромный Рубан.

«Ну, уж нет, — отрезал умный. — Такое только под дичь!»

И пометив уровень спирта в бутылке, чтобы сильно не убыло за время его отсутствия, бросился в склад. Володя и Саша переглянулись. Что можно найти на их складе, кроме тола, тротила и динамита?

Но умный уже выбежал к костру.

«Вот! Местный житель! — весело орал он на ходу. — Я три вахты его прикармливал! Одних мышей ему скормил штук двадцать. Как мышь пристрелю, так несу глазастому. Он у меня выстрелов перестал бояться. Пора возвращать долги!».

В правой руке он держал за ноги крупного филина.

Филин крутил огромными, ничего не видящими на свету глазами, злился и дергался, но вырваться не мог. «Я три вахты его подкармливал! — вопил умный. — Держите. Только готовить его вам. Он для меня как брат. У меня на него рука не поднимется».

Но у Володи и Саши рука на филина тоже не поднялась.

Тогда умный снова бросился в склад. Наверное, за вторым филином, подумал Шкаликов, — за тем, который не казался ему братом. Но умный вернулся не с филином, а с детонатором и с куском бикфордова шнура. «Х. р с ним, с моим другом, с местным жителем! — орал он весело. — Х. р с ним, с глазастым! Однава

живём! Пусть поработает молодым неопытным взрывником! — И пояснил: — Он теперь, считайте, не филин, а молодой неопытный взрывник. У таких часто случаются трагические ошибки!».

Выкрикнув это, он намотал на лапу филина бикфордов шнур с детонатором, поджёг и торжествующе подбросил в вечернее небо.

«Летите, голуби! Летите!»

Все задрали головы, чтобы посмотреть, как долбанёт в воздухе молодого неопытного филина-взрывника, но он, видимо, не считал себя таким уж молодым и неопытным, ему явно не хотелось совершать трагических ошибок, не стал он ожидать, когда его долбанёт в воздухе, просто нырнул в раскрытую дверь склада.

Самым быстрым оказался умный. «Полундра!» — завопил он и с чудовищной скоростью бросился в тундру, хотя прекрасно понимал, что, в принципе, не успеет добежать даже до края будущей воронки. Саша Рубан упал возле костерка лицом в нежные мхи и смиренно, наивно, чисто по-русски затаился — авось пронесёт? К счастью, Володя Шкаликов, бывший десантник, не растерялся. Буквально за пару секунд успел ворваться в сумеречное помещение склада, сорвал с ноги глазастого филина детонатор и выбросил вон.

Пили молча.

Без всякой закуси.

ХОР ЗВЁЗД

(юкагирская сказка)

Старичок был.

Старушка была.

Молодой сын был.

Точно лунный свет, так красив.

Надел лыжи, подбитые мехом выдры.

«Отец, мать, ухожу. Жену привести пора».

В сендухе снег белый, северное сияние. Как китовые пластины раскрашено ночное небо. «Лыжи, лыжи, куда несёте меня подобно верховому оленю?» Небесный огонь звучит как хор. «Лыжи, лыжи, куда так быстро меня несёте?».

Кругом снег, вдруг ураса стоит. Одна, как гора, стоит.

В урасе — князец полярный. Сын старичков вошёл, к дочке посватался. Лёг с нею рядом. Так близко лежали, что один и тот же сон видели.

Потом вместе вернулись.

Вместе жить стали.

Мичуринский участок фантаста Виктора Колупаева был расположен вблизи томского аэропорта Огурцово. Когда тяжёлые «Ту» на форсаже уходили в небо, от рёва и ужаса на грядках закрывались цветы. И если даже по непогоде обычный рейс отменяли, жаловался Виктор, то всё равно в минуту предполагаемого взлёта цветы привычно закрывались.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПАУТИНЫ

Детство и юность моего друга Рауфа Гасан-заде прошли в глухой азербайджанской деревне. Русский язык Рауф освоил только в университете, зато на всю жизнь сделал его своим языком. Почему у нас вырождаются национальные литературы? — не раз и всерьёз спрашивал он. И отвечал: да потому, что в России после революции исчезла двуязычность, как массовое явление. И рассказы Рауф мечтал писать так, чтобы они воздействовали на читателей напрямую, буквальным образом. Прочёл — и отказался от пива, прочёл — и поехал на студенческий фестиваль в Румынию, прочёл — и занялся выращиванием цветов. (Недавно в интервью английского писателя Питера Джеймса я встретил нечто похожее). В книге «Умри завтра», рассказал Питер Джеймс, я описываю бизнес по продаже человеческих органов, поскольку в мире существует огромный дефицит органов для пересадки. С тех пор как я написал эту книгу, уже несколько тысяч человек написали мне о своём решении стать донорами).

Казалось, литературная и личная судьба Рауфа вполне складывается, но в ночь на новый 1990 год из вполне благополучного новосибирского Академгородка он уехал в Азербайджан, где зенитки уже лупили в упор по пятнистым армейским машинам, и я долго ничего не знал о его дальнейшей жизни. Доходили слухи о том, что Рауф жив, что он принимал участие в выступлениях оппозиции, что в знак протеста против гражданской войны приковывался на площадях, объявлял голодовки.

Потом меня разыскало его письмо.

«Поздравляю тебя с Новым годом, желаю больших, сконапель, успехов в вечной и радостной жизни, — ответил мне Рауф. — Помнишь слова: «Поэт, не дорожи любовью народной»? Они, наверное, и подорвали истоки моего бедного творчества, ибо на каком-то высшем суде я проиграл своё дело вчистую, а никаких адвокатов под рукой не оказалось. Музы молчат не только, когда говорят пушки, но и когда бурчат животы — у одних от голода, у других от обжорства. И дзен проклятый достал: «Делай, не делая. Не делай, делая».

Куда ж нам плыть?

ШАМАНСТВО

Девяностые годы. Исступлённые речи, клятвы, священный бред.

«А веры никакой, одне шаманы», — как писал в «Скасах» Владимир Атласов.

РОБЕРТ ШЕКЛИ

Провести остаток жизни за чтением русских авторов? Ну, это вряд ли.

Худой, пена в уголках рта, выпяченные губы на длинном узком лице, ничего от той шевелюры, которая красовалась на первых книжках. Морщины резко вниз от глаз к уголкам рта. Курит красный «Кэмел». Клетчатая ковбойка, джинсы, кроссовки. В Екатеринбурге нас разместили в частной гостинице «Изумруд», Шекли оказался под звёздами — в номере под световым куполом.

«Почему вы не напишете автобиографию?»

«Кто её купит? В Америке меня давно не помнят».

Он потрясён интересом русских читателей к своим книгам. Оказывается, есть страны, в которых ещё можно говорить о литературе. «В романе, в повести, в рассказе, как в анекдоте, должна быть кульминация, должен быть центр натяжения, на котором держится сюжет. Литература — игра. На всех уровнях. Я ничему не учу. Я играю с читателем. Впрочем, игра сама по себе многому может научить».

«Почему вы так много пишете о смерти?»

«Да потому что это самый интересный момент в жизни».

В юности хотел играть на гитаре, хотел быть таким, как Фрэнк Синатра.

Чтобы повидать мир, записался в армию. «Власть машин? Да ну». Совершенно не верил. «Сами по себе машины не думают и не могут думать. У них нет воображения». Однажды протянул за столом солонку застеснявшемуся фэну и был в полном восторге, когда тот, растерявшись, вместо «фэнк ю» произнес «фак ю».

Внимательные глаза, полные грусти.

ШОТЛАНДЦЫ

В феврале 1983 года в Новосибирск прилетели два писателя-шотландца.

С общественным мнением тогда в Новосибирске считались, поэтому никто не хотел гулять по улицам с двумя коренастыми рыжими мужиками, нагло напялившими на бедра юбки. Тем более что шотландцы энергично выискивали в нашей действительности всякие недочёты и недостатки. Одного звали Биш Дункан — черноволосый, мордастый, в модных стальных очках, а другого — длинноволосого — Джон Сильвер. Ты учти, предупредили меня в нашей писательской организации, это не просто поэты, это профсоюзные поэты, а Сильвер ещё и профсоюзный художник.

«Нам говорили, — скрипел профсоюзный поэт Биш Дункан, — что кое-где в сибирской тайге все ещё существуют мамонты».

«Существовали», — подтверждал я.

«Почему — существовали?».

«В годы гражданской войны мамонтов съели красные партизаны».

«Как так? Всех до одного?» — не верили шотландцы.

«Всех. До одного, — твёрдо подтверждал я. — Когда адмирал Колчак громил красные отряды, партизаны уходили в глухую тайгу. Там даже орехов не было, грибы не росли, но мамонты попадались. В другое время привезли бы в тайгу учёных, сунули мордой в следы: разберитесь, придурки! Но учёных не было. Красные партизаны расстреляли их. Да и то. Вроде клянутся, что не интересуется политикой, а сами нацепили золотые очки?»

«А партизаны были членами профсоюза?»

«Ну, вот это вряд ли», — огорчал я шотландцев.

«А есть у вас художники и поэты — члены профсоюза?»

Ну, наверное, прикидывал я про себя. Только не Виталий Волович.

Виталий Волович живёт в Свердловске на чердаке, переоборудованном под мастерскую. Иногда перед ним раздевается молодая женщина. По делу, конечно, — обрывал я понимающие улыбки. — А иногда Волович выходит на пленэр. «Когда пишешь с натуры, чувствуешь себя голландцем». Однажды писал Виталий в ясный, солнечный день какие-то страшные камни, корни на заброшенной лесной поляне за городом. Всё полумёртвое у него получалось, в плесени и в ржавчине, хотя небо над головой сияло совершеннейшей синью! Казалось бы, пиши эту синь чистую! А Волович пишет гнилые пни, ржавые камни. Явно не член профсоюза. Тут ещё вывалил из-за кустиков поддатый местный мужичок, подышал шумно, покурил. «У тебя

всё неправильно, — рассудил. — Ты смотришь в синее небо, а пишешь всякую херовину. Ты только посмотри! Душа поет, какое у нас синее небо». Воловичу буркнул в ответ: «Где взять синюю краску? Нет у меня синей краски».

«А профсоюз не поможет?»

Поражённый упорством гостей, я рассказал им про другого отечественного художника. По имени Алексей. Фамилия называть не буду. Закопослушный, богобоязненный, он не только членом профсоюза, он членом партии был. Много накусал премий за работы, выполненные в традициях славного соцреализма, особенно прославился полотном: «Хорошо уродилась рожь на полях Бардымского совхоза!». А потом что-то с ним случилось. Запил и впал в модернизм. В итоге выгнали человека и из профсоюза, и из партии, и из страны.

Зато в Париже сбылась мечта, казавшаяся несбыточной.

В крошечную мастерскую явился (друзья устроили) кумир всей жизни — знаменитый Марк Шагал. К появлению метра Алексей разложил по полу и расставил вдоль стен все свои, скажем так, несколько переусложнённые офорты, гравюры и литографии. Когда-то (уже после полотен, посвящённых хорошему урожаю ржи на полях Бардымского совхоза) эти работы нагоняли невыразимо сложные чувства на партийных секретарей, отвечавших за чистоту сибирской идеологии.

Но Шагал почему-то никаких особенных чувств не выразил.

«Молодой человек, — погуляв по мастерской, удивленно выпятил он губы. — Когда мне было столько лет, сколько вам, я брал козу, рисовал козу, и у меня получалась коза. Когда мне было столько лет, сколько вам, я брал сосуд, рисовал сосуд, и у меня получался сосуд. А вы берёте козу, рисуете козу, а у вас получается сосуд. Вы берете сосуд, рисуете сосуд, а у вас получается коза...» И, выдержав паузу, спросил: «Молодой человек, чем вы собираетесь заниматься дальше?»

Шотландцы удивились: «А он был членом профсоюза?».

От такого вопроса я просто обалдел: «Кто? Шагал? Не знаю».

Моё тотальное незнание неприятно поразило шотландцев. Тогда я привёл их на берег холодного, продутого всеми ветрами Обского моря. Пусть отдохнут от урбанизма, думал я. Шотландцы мёрзли, отворачивались от сизой воды, поднимали легкие профсоюзные воротники, но рыбаки, рассеянные на лодках по всему пространству моря, их заинтересовали.

«Они члены профсоюза?»

Как мог я признаться, что все эти люди, неважно, члены профсоюза или нет, попросту сбежали с работы? Рыбалка интереснее. Но я пояснил: когда много работаешь, то и отдыхать

надо много. У нас много отдыхают, пояснил, чтобы потом много работать. Джон Сильвер в ответ на это недоуменно засопел, а его приятель, поддёрнув юбку, нахмурился.

«В такое время суток, — осторожно закинул он удочку, — в Сибири можно выпить чашку горячего чая?»

Я обеспокоился.

Но столовая Дома учёных работала.

«А в такое время суток у вас в Сибири можно выпить чашку чая с молоком?»

Теперь я обеспокоился серьёзнее. И отправился к юной официантке Люсе. А опытная официантка Люся поинтересовалась: «Иностранцы?» И я честно ответил: «Лютые». И она понимающе улыбнулась: «Значит, им повезло. Вот держи. Я молоко домой купила, но иностранцам отдам».

Святая душа. На таких, как она, вся Русь стоит — от Бреста до Уэлена.

А на таких, как Сильвер и Дункан, стоит только их профсоюзная Шотландия.

«Почему у вас не видно нищих? — обижались они. — А где заключённые в кандалах? А где большие медведи на улицах? Где монахи в чёрном?»

Старичок был.

С женой был, дочерей имел.

Купаться пошёл, вдруг совсем пропал.

Старуха пошла искать старичка, тоже пропала. Дочь пошла искать и пропала. Может, сказочный старичок их украл. Может, дед сендушный босоногий, глупый. Вторая дочь отправилась вслед за ними, исчезла. И третья не вернулась.

Так, плача, искали.

Так, странствуя, умерли.

ИЗ ПРОШЛОГО

«В коробье у меня кабалы на промышленных людей, да закладная на ясыря — якуцкую жёнку именем Бычия, да пищаль винтовка добрая. Ещё шубенко пупчатое, покрыто зипуном вишнёвым. А что останетца, — так трогательно наказывал землепроходец Михайла Захаров, — то разделить в четыре монастыря: Троице живоначальной и Сергию чюдотворцу, архимариту и келарю еже о Христе з братнею. А они бы положили к Солекамской на Пыскорь в монастырь 20 рублёв, и в Соловецкий монастырь 20 рублёв, и Кирилу и Афанасию в монастырь 15 рублёв, и Николе в Ныром в Чердынъ 5 рублев, и ещё Егорию на городище 5 рублёв. А роду и племени в мой живот никому не вступатца, — предупреждал умирающий, — потому что роду нет ближнего, одна мать жива осталась. И буде мать моя всё ещё жива, взять её в монастырь к Троице Сергию. И где изустная память выляжет, тут по ней суд и правезж».

Сибирь. Семнадцатый век.

Ледяная пустыня, холод, снега.

Траурные листовенницы по горизонту.

Пробежит олешек, оставит след, рассеется, как дым, тучка.

ПОДСКАЗКА БОГА

Устроиться официантом в кафе — на всё лето!

В 1984 году мечта моего друга Бори Завгороднего стала явью.

Жаркий волгоградский вечер. Открытая терраса, уютные столики, две дамы в белом требуют бутылку розового шампанского. У Бори есть будущее. Теперь он заработает на книги, на жизнь, теперь он много заработает, почему нет? Поглядывая на чудесных изящных дам в белом, он (про себя, но торжествующе) прикидывает, какими окажутся первые чаевые? Элегантно перебросив салфетку через левую руку, в правой на подносе — розовое шампанское, подлетает к столику.

Дамы кивают: «Откройте, пожалуйста».

Боря открывает бутылку, и розовое шампанское сразу и полностью уходит на красивые белые костюмы дам.

Секунда молчания. Всего секунда.

Господь не отпускает много времени на исправление даже невольной вины.

Но тому, кто кажется ему существом достойным, он, конечно, подбрасывает подсказку. Вот Боря и расслышал никому больше не слышимый глас:

«Заказ повторять будете?»

ИЗ БУДУЩЕГО

Маленькая Саша (племянница) идёт по улице с мамой.

У магазина остановился мальчик из её детсадовской группы.

«Ва-а-анечкаааа!» — с невыразимой нежностью восклицает Саша.

«Какой ещё Ванечка?» — поражённая её нежностью восклицает мама.

И спохватившись, уже небрежно, уклончиво, как и подобает вести себя юной особе, Саша отвечает: «Да так, дурачок один!»

Э

КРОССВОРД

По вертикали: «Отец углеводородной бомбы».

Ю

ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА

(сказка старшего внука)

«Собралась козочка погулять, попрощалась с мамой...»

Я

СКАЗКА

Летел гусь над тундрой.

Увидел — человек у озера сидит.

Сел рядом на берегу, долго на человека смотрел, ничего в нём не понял и полетел дальше.